

ГЕРОСТРАТ

Жан Поль
САРТР



ГЕРОСТРАТ

Жан Поль САРТР





Жан Поль
САРТР



ГЕРОСТРАТ

*Жан Поль
САРТР*

Москва
Издательство «Республика»
1992

ББК 84.4Фр

С20

Перевод *Д. Гамкрелидзе и Л. Григорьяна*

Под редакцией *Л. Н. Токарева*

Сартр Ж. П.

С20 Герострат: Пер. с фр.— М.: Республика, 1992.—
222 с.

ISBN 5—250—02194—8

Жан Поль Сартр — крупнейший французский писатель и философ. В 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия, от которой писатель отказался. Имя Сартра стало широко известно в 1939 году, когда он выпустил в Париже книгу новелл, которая принесла автору громкую и скандальную славу прямым и откровенным осуждением ханжества и пошлости обывательского мира, необычно открытым изображением интимных человеческих отношений. В последние годы отдельные произведения из этого сборника были переведены в нашей стране, но в полном виде он выходит на русском языке впервые, получив название по одной из лучших новелл — «Герострат».

Книга рассчитана на широкие круги читателей.

С $\frac{0301070000-237}{079(02)-92}$ КБ — 28—2—92

ББК 84.4Фр

ISBN 5—250—02194—8

© Издательство «Республика», 1992



СТЕНА

Нас втокнули в просторную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых похожих друг на друга блондина, я подумал: наверно, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки — явно нервничал.

Все это тянулось уже около трех часов, я совершенно оступел, в голове звенело. Но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно: целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов по одиночке к столу. Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: «Участвовал в краже боеприпасов?» или: «Где был и что делал десятого утром?» Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают, молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. У Тома спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно — они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.

— Вы же знаете,— сказал Хуан,— это мой брат Хозе — анархист. Но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.

Они молча продолжали писать. Хуан не унимался:

— Я ни в чем не виноват. Не хочу расплачиваться за других.— Губы его дрожали. Конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.

— Ваше имя Пабло Иббиета?

Я сказал, что да. Субъект заглянул в бумаги и спросил:

— Где скрывается Рамон Грис?

— Не знаю.

— Вы прятали его у себя с шестого по девятнадцатое.

— Это не так.

Они стали что-то записывать, потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан. Нас повели. Том спросил у одного из конвоиров:

— А дальше что?

— В каком смысле? — отозвался тот.

— Что это было — вопрос или суд?

— Суд.

— Ясно. И что с нами будет?

Конвойный сухо ответил:

— Приговор вам сообщат в камере.

То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и вовсю гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие пять дней я провел в карцере одного архиепископства — что-то вроде одиночки, каменный мешок времен средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане: там я не коченел от стужи, был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня по крайней мере была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта: он страшно трусил, да и был слишком молод, ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно.

В подвале были скамья и четыре циновки. Когда за нами закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:

— Ну все. Теперь нам крышка.

— Наверняка, — согласился я. — Но малыша-то они, надеюсь, не тронут.

— Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.

Я взглянул на Хуана: казалось, он нас не слышит. Том продолжал:

— Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокканец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.

— А как же с экономией бензина?

Том меня раздражал: к чему он все это рассказывает?

— А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокканец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.

— Уверен, что тут они этого делать не станут,— сказал я,— чего-чего, а боеприпасов у них хватает.

Свет проникал в подвал через четыре отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали в подвал уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверно, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся:

— Проклятье! — пробормотал он.— Меня всего колотит. Этого еще не хватало!

Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы: я видел, как подрагивает его толстый зад. Вообще-то Том был крепыш и все-таки жирноват. Я невольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я не озяб и все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи, и я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут же вспоминал, что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.

— Ну что, согрелся?

— Нет, черт побери. Только запыхался.

Около восьми часов в камеру вошли комендант и два фалангиста. У коменданта в руках был список. Он спросил у охранника:

— Фамилии этих трех?

Тот ответил:

— Стейнбок, Иббиета, Мирбаль.

Комендант надел очки и поглядел в список.

— Стейнбок... Стейнбок... Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.

Он поглядел в список еще раз:

— Оба других тоже.

— Но это невозможно,— пролепетал Хуан.— Это ошибка.

Комендант удивленно взглянул на него:

— Фамилия?

— Хуан Мирбаль.

— Все правильно. Расстрел.

— Но я же ничего не сделал,— настаивал Хуан.

Комендант пожал плечами и повернулся к нам:

— Вы баски?

— Нет.

Комендант был явно не в духе.

— Но мне сказали, что тут трое басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен?

Мы промолчали. Комендант сказал:

— Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.

Козырнув, он вышел.

— Ну, что я тебе говорил,— сказал Том.— Не поскупились.

— Это уж точно,— ответил я.— Но мальчика-то за что? Подонки!

Я сказал это из чувства справедливости, хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще три дня назад это был хрупкий мальчуган — такой мог бы и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной, и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение, да и парень был мне почти противен.

Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк, он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырвался, лицо его исказила гримаса.

— Оставь его, — сказал я Тому. — Ты же видишь, он сейчас разревется.

Том послушался с неохотой: ему хотелось как-то приласкать парнишку — это отвлекло бы его от мыслей о собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти — не было случая, но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.

— Послушай, — спросил Том, — ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?

Я промолчал. Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа шестерых. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого *не хочет*. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться: для ее уяснения впереди была целая

ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал: «Ну вот, начинается!» А ночь подступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, растекался на куче угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заметил звезду: ночь была морозной и ясной.

Дверь отворилась, в подвал вошли два охранника. За ними — белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес:

— Я врач. В этих прискорбных обстоятельствах я побуду с вами.

Голос у него был приятный, интеллигентный. Я спросил у него:

— А, собственно, зачем?

— Я весь к вашим услугам. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить вам последние часы.

— Но почему вы пришли к нам? В госпитале полно других.

— Меня послали именно сюда,— ответил он неопределенно. И тут же торопливо добавил: — Хотите покурить? У меня есть сигареты и даже сигары.— Он протянул нам английские сигареты и гаванские сигары, мы отказались. Я пристально посмотрел на него, он явно смутился. Я сказал ему:

— Вы явились сюда отнюдь не из милосердия. Я вас узнал. В тот день, когда меня взяли, я видел вас во дворе казармы. Вы были с фалангистами.

Я собирался выложить ему все, но, к своему удивлению, не стал этого делать: бельгиец внезапно перестал меня интересовать. Раньше если уж я к кому-нибудь цеплялся, то не оставлял его в покое так просто. А тут желание говорить бесследно исчезло. Я пожал плечами и отвел глаза. Через несколько минут поднял

голову и увидел, что бельгиец с любопытством наблюдает за мной. Охранники уселись на циновки. Долговязый Педро не знал, куда себя деть от скуки, другой то и дело вертел головой, чтобы не уснуть.

— Принести лампу? — неожиданно спросил Педро.

Бельгиец кивнул головой, и я подумал, что интеллигентности в нем не больше, чем в деревянном чурбане, но на злодея он похож все-таки не был. Взглянув в его холодные голубые глаза, я решил, что он подличает от недостатка воображения. Педро вышел и вскоре вернулся с керосиновой лампой и поставил ее на край скамьи. Она светила скудно, но все же это было лучше, чем ничего. Накануне мы сидели в потемках. Я долго вглядывался в световой круг на потолке. Вглядывался как замороженный. Вдруг все это исчезло, круг света погас. Я очнулся и вздрогнул, как под невыносимо тяжелой ношей. Нет, это был не страх, не мысль о смерти. Этому просто не было названия. Скулы мои горели, череп раскалывался от боли.

Я поежился и взглянул на своих товарищей. Том сидел, упрятав лицо в ладони, я видел только его белый тучный загривок. Маленькому Хуану становилось все хуже: рот его был полуоткрыт, ноздри вздрагивали. Бельгиец подошел и положил ему руку на плечо: казалось, он хотел мальчугана подбодрить, но глаза его оставались такими же ледяными. Его рука украдкой скользнула вниз и замерла у кисти. Хуан не шевельнулся. Бельгиец сжал ему запястье тремя пальцами, вид у него был отрешенный, но при этом он слегка отступил, чтобы повернуться ко мне спиной. Я подался вперед и увидел, что он вынул часы и, не отпуская руки, с минуту глядел на них. Потом он отстранился, и рука Хуана безвольно упала. Бельгиец прислонился к стене, затем, как если бы он вспомнил о чем-то важном, вынул блокнот и что-то в нем записал.

«Сволочь! — в бешенстве подумал я.— Пусть только попробует шупать у меня пульс, я ему тут же харю разворочу». Он так и не подошел ко мне, но когда я поднял голову, то поймал на себе его взгляд. Я не отвел глаз. Каким-то безынтонационным голосом он сказал мне:

— Вы не находите, что тут прохладно?

Ему и в самом деле было зябко: физиономия его стала фиолетовой.

— Нет, мне не холодно,— ответил я.

Но он не сводил с меня своего жесткого взгляда. И вдруг я понял, в чем дело. Я провел рукой по лицу: его покрывала испарина. В этом промозглом подвале, в самый разгар зимы, на ледяных сквозняках я буквально истекал потом. Я потрогал волосы: они были совершенно мокрые. Я почувствовал, что рубашку мою хоть выжимай, она плотно прилипла к телу. Вот уже не меньше часа меня заливало потом, а я этого не замечал. Зато скотина-бельгиец все прекрасно видел. Он наблюдал, как капли стекают по моему лицу, и наверняка думал: вот свидетельство страха, и страха почти патологического. Он чувствовал себя нормальным человеком и гордился, что ему сейчас холодно, как всякому нормальному человеку. Мне захотелось подойти и дать ему в морду. Но при первом же движении мой стыд и ярость исчезли, и я в полном равнодушии опустился на скамью. Я ограничился тем, что снова вынул платок и стал вытирать им шею. Теперь я явственно ощущал, как пот стекает с волос, и это было неприятно. Впрочем, вскоре я перестал утираться: платок промок насквозь, а пот все не иссякал. Мокрым был даже зад, и штаны мои прилипали к скамейке. И вдруг заговорил маленький Хуан:

— Вы врач?

— Врач,— ответил бельгиец.

— Скажите... а это больно и... долго?

— Ах, это... когда... Нет, довольно быстро,— ответил бельгиец отеческим тоном. У него был вид доктора, который успокаивает своего платного пациента.

— Но я слышал... мне говорили... что иногда... с первого залпа не выходит.

Бельгиец покачал головой:

— Так бывает, если первый залп не поражает жизненно важных органов.

— И тогда перезаряжают ружья и целятся снова?

Он помедлил и добавил охрипшим голосом:

— И на это нужно время?

Его терзал страх перед физическим страданием: в его возрасте это естественно. Я же о подобных вещах не думал и обливался потом вовсе не из страха перед болью. Я встал и направился к угольной куче. Том вздрогнул и взглянул на меня с ненавистью: мои башмаки скрипели, это раздражало. Я подумал: неужели мое лицо стало таким же серым?

Небо было великолепно, свет не проникал в мой угол, стоило мне взглянуть вверх, как я увидел созвездие Большой Медведицы. Но теперь все было по-другому: раньше, когда я сидел в карцере архиепископства, я мог видеть клочок неба в любую минуту, и каждый раз оно пробуждало во мне различные воспоминания. Утром, когда небеса были пронзительно-голубыми и невесомыми, я представлял атлантические пляжи. В полдень, когда солнце было в зените, мне вспоминался севильский бар, где я когда-то попивал мансанилью, закусывая анчоусами и оливками. После полудня, когда я оказывался в тени, припоминалась глубокая тень, покрывающая половину арены, в то время как другая половина была залита солнцем; и мне грустно было видеть таким способом землю, отраженную в крохотном клочке неба. Но теперь я глядел в небо так, как хотел:

оно не вызывало в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось. Я вернулся на место и сел рядом с Томом. Помолчали.

Через некоторое время он вполголоса заговорил. Молчать он просто не мог: только произнося слова вслух, он осознавал себя. По-видимому, он обращался ко мне, хотя и смотрел куда-то в сторону. Он, несомненно, боялся увидеть меня таким, каким я стал,— потным и пепельно-серым: теперь мы были похожи друг на друга и каждый из нас стал для другого зеркалом. Он смотрел на бельгийца, на живого.

— Ты в состоянии это понять? — спросил он.— Я нет.

Я тоже заговорил вполголоса. И тоже поглядел на бельгийца.

— О чем ты?

— О том, что вскоре с нами произойдет такое, что не поддается пониманию.— Я почувствовал, что от Тома странно пахнет. Кажется, я стал ощущать запахи острее, чем обычно. Я съязвил:

— Ничего, скоро поймешь.

Но он продолжал в том же духе:

— Нет, это непостижимо. Я хочу сохранить мужество до конца, но я должен по крайней мере знать... Значит, так, скоро нас выведут во двор. Эти гады выстроятся против нас. Как, по-твоему, сколько их будет?

— Не знаю, может, пять, а может, восемь. Не больше.

— Ладно. Пусть восемь. Им крикнут: «На прицел!» — и я увижу восемь винтовок, направленных на меня. Мне захочется отступить к стене, я прислонюсь к ней спиной, изо всех сил попытаюсь в нее втиснуться, а она будет отталкивать меня, как в каком-то ночном кошмаре. Все это я могу представить. И знал бы ты, до чего ярко!

— Знаю,— ответил я.— Я представляю это не хуже тебя.

— Это, наверно, чертовски больно. Ведь они метят в глаза и рот, чтобы изуродовать лицо,— голос его стал злобным.— Я ощущаю свои раны, вот уже час, как у меня болит голова, болит шея. И это не настоящая боль, а хуже: это боль, которую я почувствую завтра утром. А что будет потом?

Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, но мне не хотелось, чтобы он об этом догадался. Я ощущал такую же боль во всем теле, я носил ее в себе, как маленькие рубцы и шрамы. Я не мог к ним привыкнуть, но так же, как он, не придавал им особого значения.

— Потом? — сказал я сурово.— Потом тебя будут жрать черви.

Дальше он говорил как бы с самим собой, но при этом не сводил глаз с бельгийца. Тот, казалось, ничего не слышал. Я понимал, почему он здесь,— наши мысли его не интересовали: он пришел наблюдать за нашими телами, еще полными жизни, но уже агонизирующими.

— Это как в ночном кошмаре,— продолжал Том.— Пытаешься о чем-то думать, и тебе кажется, что у тебя выходит, что еще минута — и ты что-то поймешь, а потом все это ускользает, испаряется, исчезает. Я говорю себе: «Потом? Потом ничего не будет». Но я не понимаю, что это значит. Порой мне кажется, что я почти понял... но тут все снова ускользает, и я начинаю думать о боли, о пулях, о залпе. Я материалист, могу тебе в этом поклясться, и, поверь, я в своем уме, и все же что-то у меня не сходится. Я вижу свой труп: это не так уж трудно, но вижу его все-таки Я, и глаза, взирающие на этот труп, МОИ глаза. Я пытаюсь убедить себя в том, что больше ничего не увижу и не услышу, а жизнь будет продолжаться — для других. Но мы не созданы для подобных мыслей. Знаешь, мне

уже случалось бодрствовать ночи напролет, ожидая чего-то. Но то, что нас ожидает, Пабло, совсем другое. Оно наваливается сзади, и быть к этому готовым попросту невозможно.

— Заткнись,— сказал я ему.— Может, позвать к тебе исповедника?

Он промолчал. Я уже заметил, что он любит пророчествовать, называть меня по имени и говорить глухим голосом. Всего этого я не выносил, но что поделаешь: ирландцы все таковы. Мне показалось, что от него разит мочой. По правде говоря, я не испытывал к Тому особой симпатии и не собирался менять своего отношения только потому, что нам предстояло умереть вместе,— мне этого было недостаточно. Я знал людей, с которыми все было бы иначе. К примеру, Рамона Грису. Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким. Впрочем, меня это устраивало: будь тут Рамон, я бы, вероятно, раскис. А так я был тверд и рассчитывал остаться таким до конца. Том продолжал рассеянно жевать слова. Было совершенно очевидно: он говорил только для того, чтобы помешать себе думать. Теперь от него несло мочой, как от старого простатика. Но вообще-то я был с ним вполне согласен; все, что он сказал, наверняка мог бы сказать и я: умирать противоестественно. С той минуты, как я понял, что мне предстоит умереть, все вокруг стало мне казаться противоестественным: и гора угольной крошки, и скамья, и паскудная рожа Педро. Тем не менее я не хотел об этом думать, хотя прекрасно понимал, что всю эту ночь мы будем думать об одном и том же, вместе дрожать и вместе истекать потом. Я искоса взглянул на него, и впервые он показался мне странным: лицо его было отмечено смертью. Гордость моя была уязвлена: двадцать четыре часа я провел рядом с Томом, я его слушал, я с ним говорил и все это время был уверен, что мы

с ним совершенно разные люди. А теперь мы стали похожи друг на друга, как близнецы, и только потому, что нам предстояло вместе подохнуть. Том взял меня за руку и сказал, глядя куда-то мимо:

— Я спрашиваю себя, Пабло... я спрашиваю себя ежеминутно: неужели мы исчезнем бесследно?

Я высвободил руку и сказал ему:

— Погляди себе под ноги, свинья.

У ног его была лужа, капли стекали по штанине.

— Что это? — пробормотал он растерянно.

— Ты напустил в штаны, — ответил я.

— Вранье! — прокричал он в бешенстве. — Вранье!
Я ничего не чувствую.

Подошел бельгиец, лицемерно изображая сочувствие:

— Вам плохо?

Том не ответил. Бельгиец молча смотрел на лужу.

— Не знаю, как это вышло, — голос Тома стал яростным. — Но я не боюсь. Клянусь чем угодно, не боюсь!

Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи.

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую сторону — три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как

вампиры. Тут он подошел к маленькому Хуану. Трудно сказать, отчего ему вздумалось погладить мальчика по голове, возможно, из каких-то профессиональных соображений, а может, в нем проснулась инстинктивная жалость. Если так, то это случилось единственный раз за ночь. Он потрепал Хуана по голове и шее, мальчик не противился, не сводя с него глаз, но внезапно схватил его руку и уставился на нее с диким видом. Он зажал руку бельгийца между ладонями, и в этом зрелище не было ничего забавного: пара серых щипцов, а между ними холеная розоватая рука. Я сразу понял, что должно произойти, и Том, очевидно, тоже, но бельгиец видел в этом лишь порыв благодарности и продолжал отечески улыбаться. И вдруг мальчик поднес эту пухлую розовую руку к губам и попытался укусить ее. Бельгиец резко вырвал руку и, споткнувшись, отскочил к стене. С минуту он глядел на нас глазами, полными ужаса: наконец-то до него дошло, что мы не такие люди, как он. Я расхохотался, один из охранников так и подскочил от неожиданности. Другой продолжал спать, через полузакрытые веки поблескивали белки. Я чувствовал себя усталым и перевозбужденным. Мне больше не хотелось думать о том, что произойдет на рассвете, не хотелось думать о смерти. Все равно ее нельзя было соотнести ни с чем, а слова были пусты и ничего не значили. Но как только я попытался думать о чем-то стороннем, я отчетливо увидел нацеленные на меня ружейные дула. Не менее двадцати раз я мысленно пережил свой расстрел, а один раз мне даже почудилось, что это происходит наяву: видимо, я слегка прикорнул. Меня тащили к стене, я отбивался и молил о пощаде. Тут я разом проснулся и взглянул на бельгийца: я испугался, что мог во сне закричать. Но бельгиец спокойно поглаживал свои усики, он явно ничего не заметил. Если бы я захотел, то мог бы малость вздремнуть:

я не смыкал глаз двое суток и был на пределе. Но мне не хотелось терять два часа жизни: они растолкают меня на рассвете, выведут обалдевшего от сна во двор и прихлопнут так быстро, что я не успею даже пикнуть. Этого я не хотел, я не хотел, чтоб меня прикончили, как животное, сначала я должен уяснить, в чем суть. И потом — я боялся кошмаров. Я встал, прошелся взад-вперед, чтобы переменить мысли, попытался припомнить прошлое. И тут меня беспорядочно обступили воспоминания. Они были всякие: и хорошие и дурные. Во всяком случае, такими они мне казались ДО. Мне припомнились разные случаи, промелькнули знакомые лица. Я снова увидел лицо молоденького новильеро, которого вскинул на рога бык во время воскресной ярмарки в Валенсии, я увидел лицо одного из своих дядюшек, лицо Рамона Гриса. Я вспомнил, как три месяца шатался без работы в двадцать шестом году, как буквально подыхал с голоду. Я вспомнил скамейку в Гранаде, на которой однажды переночевал: три дня у меня не было ни крохи во рту, я бесился, я не хотел умирать. Припомнив все это, я улыбнулся. С какой ненасытной жадностью охотился я за счастьем, за женщинами, за свободой. К чему? Я хотел быть освободителем Испании, преклонялся перед Пи-и-Маргалем, я примкнул к анархистам, выступал на митингах; все это я принимал всерьез, как будто смерти не существовало. В эти минуты у меня было такое ощущение, как будто вся моя жизнь была передо мной как на ладони, и я подумал: какая гнусная ложь! Моя жизнь не стоила ни гроша, ибо она была заранее обречена. Я спрашивал себя: как я мог слоняться по улицам, волочиться за женщинами; если б я только мог предположить, что сгину подобным образом, я не шевельнул бы и мизинцем. Теперь жизнь была закрыта, завязана, как мешок, но все в ней было не закончено, не завершено. Я уже готов был сказать: и все же это

была прекрасная жизнь. Но как можно оценивать набросок, черновик — ведь я ничего не понял, я выписывал векселя под залог вечности. Я ни о чем не сокрушался, хотя было множество вещей, о которых я мог бы пожалеть, к примеру мансанилья или купанье в крохотной бухточке неподалеку от Кадиса, но смерть лишила все это быллого очарования.

Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.

— Друзья мои,— сказал он,— я готов взять на себя обязательство — если, конечно, военная администрация будет не против — передать несколько слов людям, которые вам дороги...

Том пробурчал:

— У меня никого нет.

Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:

— Как, ты ничего не хочешь передать Конче?

— Нет.

Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом — это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее

взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.

Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего, это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно,— меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии — они это делали неприметно, тихом, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать — несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я — тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал, меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все,

что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смиренно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина; мне казалось, что меня обвиняет гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.

Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:

— Половина четвертого.

Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул — мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.

Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:

— Я не хочу умирать, не хочу умирать!

Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.

Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным — я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.

Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно, больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:

— Ты слышишь?

— Да.

Со двора доносились звуки шагов.

— Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.

Через минуту все стихло. Я сказал Тому:

— Светает.

Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:

— Продрог как собака.

Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.

— Начинается,— сказал я Тому.— По-моему, они это делают на заднем дворе.

Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли беспрерывно.

— Понял? — сказал Том.

Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.

— Стейнбок?

Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.

— Хуан Мирбаль?

— Тот, что на циновке.

— Встать! — выкрикнул лейтенант.

Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его

отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.

— Это уже не первый в таком виде,— сказал лейтенант.— Придется его нести, ничего, все будет в порядке.

Он повернулся к Тому:

— Выходи.

Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:

— Это вы Иббиета?

— Да.

— Придется подождать. За вами скоро придут.

Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было не ясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалясь в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.

— Твоя фамилия Иббиета?

— Да.

— Где скрывается Рамон Грис?

— Не знаю.

Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:

— Подойди.

Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь по сильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:

— Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.

И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять; у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая пруть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.

Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны — ему хотелось производить впечатление лютого зверя.

— Ну что, ты понял?

— Мне неизвестно, где сейчас Грис, — ответил я. — Может, в Мадриде.

Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятя люди, которым все это доставляет удовольствие.

— Мы даем вам четверть часа на размышление, — сказал он, — отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запираяться, расстреляйте немедленно.

Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой — несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытаться (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Грису? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи — тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей — любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет, кто бы это ни был — я, или Рамон Грис, или кто-то третий, — все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Грису, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть

таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:

— Гляди, крыса.

Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:

— Сбрей усы, кретин.

Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.

— Ну что,— спросил толстяк,— ты надумал?

Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:

— Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.

Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупей и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакивали с мест.

— Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.

— Если это правда,— сказал коротышка,— я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.

Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя,

солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил,— поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одуроченным.

— Отведите его на главный двор, к остальным,— сказал он.— После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.

Я подумал, что не так его понял. Я спросил:

— Как, разве меня не расстреляют?

— Во всяком случае, не сейчас. И потом это уже не по моей части.

Я все еще не понимал.

— Но почему?

Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:

— А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.

— Они приговорили меня к расстрелу,— отозвался я,— а потом передумали. Не могу понять почему.

— Меня взяли в два часа,— сказал Гарсиа.

— За что?

Гарсиа политикой не занимался.

— Понятия не имею,— ответил Гарсиа,— они хватают каждого, кто думает не так, как они.

Он понизил голос:

— Грис попался.

Я вздрогнул.

— Когда?

— Сегодня утром. Он сваял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желаящих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».

— На кладбище?

— Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.

— На кладбище!

Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.



КОМНАТА

I

Госпожа Дарбеда держала кончиками пальцев рахат-лукум. Она осторожно поднесла его к губам и затаила дыхание, боясь сдуть сахарную пудру, которой он был присыпан. «Розами пахнет!» — подумала она. Она вонзила зубы в вязкую массу и ощутила во рту гнилостный привкус. «Удивительно, как болезнь обостряет чувства». Она стала думать о мечетях, о приторно-вежливых восточных людях (она ездила в Алжир в свадебное путешествие), и на ее бледных губах обозначалась едва заметная улыбка: рахат-лукум тоже был приторно-сладким.

Ей пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, потому что, несмотря на все предосторожности, их покрывал налет белой пудры. Под ее ладонями на скользкой бумаге свертывались, поскрипывая, крохотные песчинки сахара: «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже...» Лето 1907 года она провела на побережье. Она носила тогда соломенную шляпу с большими полями и зеленой лентой; сидела у самого пирса с романом Жипа или Коллеты Ивер. Ветер осыпал ее колени песком, и время от времени она встряхивала книгу, поднимая за уголки. Сейчас она чувствовала то же самое, только вот песчинки были сухие, а эти малюсенькие сахарные шарики липли к кончикам пальцев. Перед глазами вдруг возникла полоска жемчужно-серого неба над черным морем. «Это было до рождения Евы». Она чувствовала себя нагруженной воспоминаниями и драгоценной, как шкатулка из сандалового дерева. Неожиданно всплыло в памяти название романа, который она тогда читала,— «*Маленькая госпожа*»; он вовсе не был скучным. Но с тех пор, как непонятная болезнь безвыходно удерживала ее в комнате, госпожа Дарбеда предпочитала мемуары и сочинения по истории. Она полагала, что страдание, серьезное чтение, обостренное внимание к своим воспоминаниям, к своим самым утонченным ощущениям помогут ей созреть, словно редкому оранжерейному плоду.

Она с раздражением подумала, что сейчас в дверь постучит муж. В другие дни недели он заходил только по вечерам, молча целовал ее в лоб и, устроившись напротив в кресле, читал «*Тан*». Но четверг был его «днем»: господин Дарбеда отправлялся на часок к дочери, как правило, от трех до четырех дня. Перед уходом он заглядывал к жене, и они с горечью беседовали о своем зяте. Эти разговоры по четвергам, повторяв-

шиеся до мельчайших деталей, совершенно выматывали госпожу Дарбеда. В этой тихой комнате господина Дарбеда было слишком много. Он не садился, расхаживал взад-вперед и беспрерывно вертелся. Каждое из этих резких движений терзало госпожу Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот четверг дела обстояли даже хуже обычного: при мысли, что ей придется повторить мужу признания Евы и увидеть, как это пугающее большое тело задрожит от ярости, госпожа Дарбеда потела от страха. Она взяла с тарелки кусочек лукама, с минуту нерешительно смотрела на него, затем с печальным видом положила обратно: она не любила, когда муж заставлял ее за этим занятием.

Она вздрогнула, услышав стук.

— Входите, — тихо сказала она.

На цыпочках вошел господин Дарбеда.

— Я иду к Еве, — сказал он, как всегда.

Госпожа Дарбеда улыбнулась.

— Поцелуй ее за меня.

Господин Дарбеда не ответил, лишь с озабоченным видом наморщил лоб: каждый четверг, в один и тот же час, битком набитый желудок вызывал у него какое-то глухое раздражение.

— От нее я зайду к доктору Франшо, мне хотелось бы, чтобы он серьезно поговорил с ней и постарался убедить.

Он часто навещал доктора Франшо. Но напрасно. Госпожа Дарбеда вздернула брови. Раньше, будучи здоровой, она в таких случаях обычно пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь утяжелила ее тело, утомлявшие ее жесты она заменила мимикой лица — глазами говорила «да», уголками губ — «нет».

— Надо бы попытаться отнять у него Еву.

— Я ведь уже говорил тебе, что это невозможно. Кстати, закон на этот счет очень плох. Франшо как-то

сказал мне, что у врачей бывают немыслимые неприятности с семьями: люди не решаются сдать больных в клинику и держат их дома. У врачей связаны руки, они вправе лишь высказать свое мнение, и все тут. Необходимо, — продолжал он, — чтобы разразился публичный скандал, или семья сама должна потребовать помещения больного в больницу.

— Но это когда еще будет, — заметила госпожа Дарбеда.

— Вот именно.

Он повернулся к зеркалу и, запустив пальцы в бороду, принялся ее разглаживать. Госпожа Дарбеда равнодушно смотрела на мощный красный загаривок мужа.

— Если так и дальше будет продолжаться, — сказал господин Дарбеда, — она станет безумнее его, у них страшно нездоровая обстановка. Она ни на шаг от него не отходит, никого не видит, кроме тебя, никого не принимает. Окон она никогда не открывает, потому что этого не желает Пьер. Как будто для этого надо спрашивать разрешения у больного. Они, по-моему, жгут благовония в курительнице — такая гадость, кажется, что ты в церкви. Право слово, иногда я думаю... знаешь, глаза у нее какие-то странные.

— Я этого не заметила, — возразила госпожа Дарбеда. — Я нахожу, что выглядит она нормально. Правда, немного печальна.

— Она как покойница. Хорошо ли она спит? Как питается? И не думай спросить ее об этом. Но я считаю, что, имея под боком такого «гуся», как этот Пьер, ей приходится ночи напролет не смыкать глаз. И самое невероятное во всем этом, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Заметь, что у Франшо уход за Пьером будет гораздо лучше. У них огромный парк. И к тому же я считаю, — прибавил он с едва уловимой усмешкой, — что с себе подобными ему будет

легче найти общий язык. Эти существа как дети, надо, чтоб они были заняты собой; они образуют своего рода братство франкмасонов. Вот где следовало бы его держать с первого же дня, и замечу — для его же пользы. Да, для его же пользы.

Помолчав немного, он добавил:

— Признаюсь тебе, мне жутко от мысли, что она остается наедине с Пьером, особенно ночью. Представь себе, вдруг что-то случится. Пьер ведь ужасно скрытный.

— Не знаю,— возразила госпожа Дарбеда,— стоит ли по этому поводу особенно волноваться, ведь он всегда был такой. Он производит впечатление человека, свысока глядящего на весь свет. Бедный мальчик,— вздохнула она,— быть таким гордецом и к чему прийти! Он считал себя умнее всех нас. И эта его манера затыкать тебе рот: «Вы совершенно правы», чтоб закончить разговор. Для него великое счастье, что он не способен понять, в каком состоянии находится.

Она с неудовольствием вспоминала его узкое, ироничное лицо, всегда чуть склоненное к плечу. В первые месяцы замужества Евы госпожа Дарбеда не желала бы ничего лучшего, как завязать с зятем отношения родственной близости, однако он сводил на нет все ее усилия — почти не разговаривал с ней, поспешно и с отсутствующим видом со всем соглашался.

— Франшо показал мне свое заведение,— продолжал развивать свою мысль господин Дарбеда,— оно просто превосходно. У больных отдельные комнаты, с кожаными креслами и, представь себе, диван-кроватьями, там, скажу я тебе, есть корт, они даже намерены построить бассейн.

Он остановился у окна и уставился в стекло, слегка покачиваясь на своих кривых ногах. Внезапно он проворно, гибко повернулся на каблуках; плечи у него были

покатые, руки он держал в карманах. Госпожа Дарбеда почувствовала, что сейчас она начнет обливаться потом: так случалось всегда; он принялся расхаживать взад и вперед, словно медведь в клетке, и при каждом шаге ботинки его скрипели.

— Дорогой друг,— сказала она,— прошу тебя, сядь, ты меня утомляешь. Я должна сказать тебе нечто важное,— в замешательстве прибавила она.

Господин Дарбеда сел в кресло и сложил руки на коленях; мурашки бежали по спине госпожи Дарбеда: настало время сказать обо всем.

— Ты знаешь,— начала она, смущенно покашляв,— Ева была у меня во вторник.

— И что же?

— Мы болтали с ней о разных разностях, она была очень мила, давно я не видела ее такой откровенной. Тогда я и расспросила ее кой о чем, заставила рассказать о Пьере. В общем, я узнала,— добавила она, снова смутившись,— что она *сильно* к нему привязана.

— Я это прекрасно знаю, черт бы меня побрал! — воскликнул господин Дарбеда.

Он слегка раздражал госпожу Дарбеда: всегда приходилось кропотливо объяснять ему подобные вещи, расставляя точки над *i*. Госпожа Дарбеда мечтала жить в окружении тонких и чутких людей, которые понимали бы ее с полуслова.

— Но я говорю,— продолжала она,— что Ева привязана к нему *иначе*, чем мы себе это представляли.

Господин Дарбеда вытаращил злобные и встревоженные глаза, как бывало всякий раз, когда он не вполне улавливал смысл какого-нибудь намека или новости:

— На что ты намекаешь?

— Шарль, не утомляй меня,— попросила госпожа Дарбеда.— Ты должен понимать, что матери бывает трудно говорить о некоторых вещах.

— Я не понимаю ни слова из того, что ты мне тут несешь,— с раздражением сказал господин Дарбеда.— Уж не хочешь ли ты сказать, что...

— Да, это так! — подтвердила она.

— Они еще... даже теперь?

— Да! Да! Да! — трижды зло повторила она.

Господин Дарбеда развел руками и, опустив голову, замолчал.

— Шарль, я не должна была говорить тебе этого,— с тревогой сказала его жена.— Но я не могла носить это в себе.

— Наше дитя! — с трудом выговорил он.— С этим сумасшедшим! Он даже не узнает ее, называет Агатой. Наверно, она с ума сошла, если совсем потеряла уважение к себе.

Он поднял голову и строго посмотрел на жену:

— Ты уверена, что правильно все поняла?

— Сомнений быть не может. Я, как и ты,— поспешно добавила она,— тоже не могу поверить в это и, кстати, не понимаю ее. При одной мысли, что этот жалкий больной может касаться ее, меня... В конце концов,— вздохнула она,— я предполагаю, что он удерживает ее благодаря этому.

— Увы! — проговорил господин Дарбеда.— Помнишь, что я тебе говорил, когда он пришел к нам просить ее руки? Я сказал: «По-моему, он Еве *очень* нравится». Ты не хотела мне верить.

Внезапно он стукнул ладонью по столу и сильно покраснел:

— Это извращение! Он обнимает ее, целует, называя при этом Агатой, и несет всякую околесицу о летающих статуях и еще черт знает о чем! А она не возражает! Но что может быть между ними? Если она жалеет его от всего сердца, пусть отправит в санаторий, где может навещать его каждый день, да ради Бога. Но я

никогда не подумал бы... Я считаю ее почти вдовой. Послушай, Жаннет, должен честно тебе признаться,— очень серьезным тоном сказал он,— если она сохранила чувства, то я бы предпочел, чтоб она завела любовника!

— Замолчи, Шарль! — воскликнула госпожа Дарбеда.

Господин Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, входя в комнату, положил на маленький столик.

— После того, что ты мне сейчас сказала,— заключил он,— у меня осталось мало надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.

Госпожа Дарбеда спешила выпроводить его.

— Знаешь,— сказала она, пытаюсь немного его приободрить,— я думаю, что со стороны Евы здесь больше упрямства... чем что-либо еще. Она знает, что Пьер неизлечим, но упрямится и не желает, чтобы ее в этом разубеждали.

Господин Дарбеда задумчиво поглаживал бороду:

— Упрямство? Да, возможно. Ну ладно, если ты права, то рано или поздно ей все это надоест. Он не каждый день ведет себя смиренно, и к тому же не слишком разговорчив. Когда я здороваюсь с ним, он протягивает мне мягкую руку и молчит. Как только они остаются одни, он, я полагаю, опять возвращается к своим навязчивым идеям; она говорила мне, что иногда он орет, как зарезанный, потому что у него галлюцинации. Ему мерещатся статуи. Они пугают его, потому что жужжат. Он говорит, что они порхают вокруг него, глядя на него пустыми глазами.

Натягивая перчатки, он продолжал:

— Ей надоест это, уверяю тебя. Ну а если прежде она свихнется? Я хотел бы, чтоб она почаще выходила из дома, бывала на людях; она могла бы встретить какого-нибудь приятного молодого мужчину вроде Шредера,

например, что работает инженером у Сэмплона, какого-нибудь человека с будущим, виделась бы с ним то у одних, то у других и совсем безболезненно свыклась бы с мыслью, что ей необходимо начать жизнь заново.

Госпожа Дарбеда молчала из-за боязни, как бы не затянулся разговор. Супруг склонился к ней.

— Ладно,— сказал он,— мне пора идти.

— До свиданья, папочка,— сказала госпожа Дарбеда, подставляя ему лоб.— Поцелуй ее крепко и передай, что я люблю мою бедную дорогую девочку.

Когда муж ушел, госпожа Дарбеда откинулась на спинку кресла и в изнеможении закрыла глаза. «Сколько в нем жизни»,— укоризненно подумала она. Едва переведя дух, она плавно вытянула бледную руку и на ощупь, не открывая глаз, взяла с тарелки лукум.

Ева с мужем жили на шестом этаже старого дома по улице дю Бак. Господин Дарбеда легко преодолел все сто двенадцать ступенек лестницы. Нажимая на кнопку звонка, он дышал ровно, без отдышки. Он с удовольствием вспомнил слова мадемуазель Дормуа: «Для ваших лет, Шарль, вы выглядите просто чудесно». По четвергам он всегда ощущал в себе сил и здоровья больше, чем обычно, особенно после этих столь бодрящих восхождений.

Дверь открыла Ева. Ну конечно, она ведь не держит прислугу. Эти девки *не могут* оставаться у нее долго — представляю себя на их месте. Он поцеловал ее: «Здравствуй, бедняжка моя».

Ева поздоровалась с ним как-то холодно.

— Ты немного бледна,— заметил господин Дарбеда, потрепав ее по щеке,— мало двигаешься.

Наступило молчание.

— Как мама? — спросила Ева.

— Неважно. Ты ведь видела ее во вторник? Так она чувствует себя, как обычно. Твоя тетка Луиза вчера зашла ее проведать, это ее обрадовало. Она любит принимать гостей, но нельзя, чтобы они у нее засиживались. Тетя Луиза приехала в Париж с ребятней из-за этого ее дела с недвижимостью. По-моему, я тебе рассказывал об этом, странная история. Она зашла ко мне в контору посоветоваться. Я сказал, что двух мнений быть не может: она должна ее продать. Она уже нашла покупателя, кстати, это Бретонель. Помнишь Бретонеля? Теперь он отошел от дел.

Он вдруг замолчал: Ева почти не слушала его. Он с грустью подумал, что она больше ничем не интересуется. «Это как с книгами. Прежде их у нее приходилось отнимать. Сейчас она даже читать перестала».

— Как Пьер?

— Хорошо. Хочешь его повидать?

— Конечно,— весело ответил господин Дарбеда,— я нанесу ему краткий визит.

Он очень сочувствовал этому несчастному парню, но не мог без отвращения смотреть на него. «Мне внушают ужас больные люди». Вины Пьера, разумеется, в этом не было: у него была страшно тяжелая наследственность. Господин Дарбеда вздохнул: «Какие ни принимай предосторожности, подобные вещи всегда обнаруживаются слишком поздно». Нет, Пьер здесь не виноват. Но все-таки он всегда носил в себе этот порок, он составлял суть его характера; это не то, что рак или туберкулез, от которых всегда можно отвлечься, когда хочешь судить о том, каков человек на самом деле. Это нервное изящество и эта утонченность, которые так очаровали Еву, когда он за ней ухаживал, были цветами безумия. «Он уже был сумасшедшим, когда женился на ней, правда, это еще не бросалось в глаза. И уместно задать вопрос,— думал господин Дарбеда,— где

начинается ответственность или, вернее, где она заканчивается. Во всяком случае, Пьер слишком копался в себе, он постоянно был поглощен собой. Но что это — причина или следствие его болезни?» Он шел за дочерью по длинному темному коридору.

— Эта квартира слишком велика для вас,— заметил он,— вам нужно переехать в другую.

— Ты каждый раз повторяешь мне это, папа,— ответила Ева,— но я тебе уже сказала, что Пьер не хочет расставаться со своей комнатой.

Ева его поражала: интересно, отдавала ли она себе отчет о состоянии мужа. Он совершенно безумен, а она считается с его решениями и мнениями, словно он в здравом уме.

— Я говорю все это только ради тебя,— с досадой продолжал господин Дарбеда.— Мне кажется, будь я женщиной, я бы боялся оставаться в этих старых, плохо освещенных комнатах. Я хотел бы, чтобы у тебя была светлая квартира, вроде тех, что понастроили в последнее время в Отей, три небольших, хорошо проветриваемых комнаты. Они снизили цены, потому что не находят нанимателей, сейчас самый подходящий момент снять квартиру.

Ева осторожно повернула ручку двери, и они вошли в комнату. У господина Дарбеда перехватило горло от тяжелого запаха ладана. Шторы были задернуты. В полутьме он различил над спинкой кресла худой затылок; это сидел Пьер — он ел.

— Добрый день, Пьер,— сказал господин Дарбеда, повышая голос.— Ну как мы себя чувствуем сегодня?

Господин Дарбеда подошел поближе; больной сидел за маленьким столиком, вид у него был хмурый.

— Мы кушаем яички всмятку,— сказал господин Дарбеда, говоря еще громче.— Вот и отлично!

— Я не глухой,— спокойно заметил Пьер.

Господин Дарбеда с раздражением посмотрел на Еву, словно призывая ее в свидетели. Но Ева сурово взглянула на него и промолчала. Господин Дарбеда понял, что обидел ее. «Пусть, тем хуже для нее». Невозможно было найти подходящий тон с этим несчастным малым: разума у него было меньше, чем у четырехлетнего ребенка, а Ева хотела, чтобы с ним обращались, как со взрослым мужчиной. Господин Дарбеда не мог совладать с собой и нетерпеливо ждал того момента, когда все эти смехотворные взгляды станут неуместны. Больные всегда слегка раздражали его, особенно сумасшедшие, потому что они пороли всякую чушь. Бедняга Пьер, к примеру, неизменно был не прав во всем, он слова разумного не мог вымолвить, и все-таки напрасно было бы требовать от него малейшей скромности или хотя бы мимолетного признания своих ошибок.

Ева убрала скорлупу и рюмку для яиц. И поставила перед Пьером тарелку с ножом и вилкой.

— Ну а что он теперь будет кушать? — осведомился господин Дарбеда.

— Бифштекс.

Худыми бледными пальцами Пьер взял вилку. Он принялся внимательно ее осматривать и наконец ухмыльнулся.

— На этот раз ничего не будет, — пробормотал он, откладывая ее, — меня предупредили.

Ева приблизилась и с глубоким интересом взглянула на вилку.

— Агата, дай мне другую, — сказал Пьер.

Она подчинилась, и Пьер приступил к еде. Она взяла в руки сомнительную вилку и стала пристально ее разглядывать; казалось, она предпринимает какое-то отчаянное усилие. «Как двусмысленны их жесты, их отношения!» — подумал господин Дарбеда.

Ему стало не по себе.

— Осторожно,— сказал Пьер,— держи ее за середину ручки, бойся зубцов.

Ева вздохнула и положила вилку в грязную тарелку. Господин Дарбеда почувствовал, что в нос ему ударил запах горчицы. Он не считал правильным потакать всем прихотям этого несчастного — даже для самого Пьера это было вредным. Франшо верно говорил: «Мы никогда не должны вникать в бред больного». Вместо того чтобы давать другую вилку, лучше было бы спокойно все ему объяснить и заставить понять, что первая ничем не отличается от остальных. Он демонстративно взял вилку и легонько провел пальцем по зубцам. Потом повернулся к Пьеру. Но тот с безмятежным видом разрезал свое мясо; он смотрел на тестя добродушным, пустым взглядом.

— Я хотел бы немного поболтать с тобой,— обратился господин Дарбеда к Еве.

Та покорно последовала за ним в гостиную. Садясь на диван, господин Дарбеда вдруг обнаружил, что все еще держит вилку в руке. Засмеявшись, он бросил ее на столик.

— А здесь гораздо лучше,— заметил он.

— Я никогда не захожу сюда.

— Могу я закурить?

— Конечно, папа,— сказала Ева.— Хочешь сигару?

Господин Дарбеда предпочел скрутить сигарету. Его не пугал разговор, который он собирался завести. Говоря с Пьером, он стеснялся своего разума — так, наверное, стыдится собственной силы силач, играя с ребенком. Все достоинства разума — ясность, вразумительность, точность — оборачивались против него же. «У моей бедняжки Жаннеты, надо честно признаться, происходит то же самое». Разумеется, госпожа Дарбеда была в своем уме, но болезнь сделала ее... туповатой. Ева, наоборот, была вся в отца, это была прямая и разум-

ная натура; беседа с ней превращалась в сплошное удовольствие. «Именно потому я и не желаю, чтоб мне ее испортили». Господин Дарбеда поднял глаза, ему захотелось увидеть умные и тонкие черты лица дочери. Он был разочарован: в ее лице, некогда таком умном и открытом, теперь появилось что-то размытое и непроницаемое. Ева всегда была очень красива. Господин Дарбеда заметил, что она тщательно, даже вызывающе накрутила ресницы. Она подвела синим веки и тушью накрутила длинные ресницы. И этот продуманный и броский макияж произвел тягостное впечатление на ее отца.

— Ты совсем зеленая под своей косметикой,— сказал он,— я боюсь, как бы ты не свалилась. И как ты стала краситься! Ведь ты была такая скромница.

Ева молчала, а господин Дарбеда некоторое время смущенно вглядывался в это яркое и утомленное лицо под тяжелой копной черных волос. Он подумал, что она похожа на трагическую актрису. «Я даже точно знаю, на кого именно. На эту женщину, румынку, которая играла *Федру* по-французски». Он сожалел, что сделал ей неприятное замечание: «У меня это вырвалось невольно! Лучше было бы не расстраивать ее по мелочам».

— Извини меня,— сказал он улыбаясь,— ты же знаешь, что я старый поклонник природы. Мне не слишком нравятся все эти помады, которыми сегодня мажутся женщины. Но вероятно я не прав, нужно уметь не отставать от жизни.

Ева ласково улыбнулась ему. Господин Дарбеда закурил сигарету и сделал несколько затяжек.

— Дитя мое,— начал он,— я вот что хочу тебе сказать: давай с тобой поболтаем обо всем, как раньше. Ладно, сядь и спокойно выслушай меня; надо доверять своему старому папе.

— Я лучше постою,— сказала Ева.— Так что ты хочешь мне сказать?

— Я хочу задать тебе один простой вопрос,— более сухим тоном сказал господин Дарбеда.— К чему все это тебя приведет?

— Все это? — удивленно повторила Ева.

— Ну да, все, вся эта жизнь, которую ты себе устроила. Послушай,— продолжал он,— не думай, что я не понимаю тебя (эта мысль только что осенила его). Но то, что ты собираешься делать, выше сил человеческих. Ты хочешь жить только в воображении, не так ли? Ты не желаешь признавать, что он болен? Ты не хочешь видеть сегодняшнего Пьера, разве нет? Ты видишь лишь прежнего Пьера. Моя дорогая, маленькая моя девочка, это цель, которой невозможно добиться,— сказал господин Дарбеда.— Хорошо, я расскажу тебе одну историю, которой ты, может быть, и не знаешь: когда мы были в Сабль д'Олонь — тебе тогда было три года — твоя мать познакомилась с очень милой молодой женщиной, у которой был прелестный сынишка. Ты играла с этим мальчиком на пляже — вы были от горшка три вершка, ты была его невестой. Спустя какое-то время, в Париже, твоей матери захотелось снова встретиться с этой женщиной; матери сообщили, что с ней произошло страшное несчастье: ее прекрасному ребенку автомобиль размоzzжил голову. «Можете навестить ее, но ни в коем случае не говорите о смерти ее малыша, она *не хочет* верить в то, что он погиб». Твоя мать побывала у нее; увидела полупомешанное создание; женщина вела себя так, словно ее мальчик по-прежнему живой,— она разговаривала с ним, ставила ему на стол прибор. Так вот, она пережила столь сильное нервное напряжение, что через полгода ее пришлось насильно поместить в санаторий, где она пробыла три года. Нет, маленькая моя,— покачал головой господин

Дарбеда,— такие вещи невозможны. Было бы гораздо лучше, если бы она мужественно признала правду. Она пережила бы один раз сильное страдание, но это вылечило бы ее. Надо научиться смотреть правде в глаза, иного выхода нет, поверь мне.

— Ты ошибаешься,— сказала Ева,— я очень хорошо знаю, что Пьер...

Слова не последовало. Она держалась очень прямо, опустив руки на спинку кресла; что-то жесткое и некрасивое выражала нижняя часть ее лица.

— Ну а... что дальше? — спросил удивленный господин Дарбеда.

— А чего дальше?

— Ты...?

— Я люблю его таким, какой он есть,— быстро, со скучающим видом ответила Ева.

— Это неправда, ты его не любишь, не можешь любить. Такие чувства можно питать лишь к нормальному и здоровому человеку. К Пьеру же ты испытываешь жалость, я уверен в этом, и, вероятно, хранишь память о трех годах счастья, которыми ему обязана. Но не говори мне, что ты его любишь, я в это не поверю.

Глядя с отсутствующим видом на ковер, Ева молчала.

— Ты могла бы мне ответить,— холодно сказал господин Дарбеда.— Не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя.

— Ты же все равно мне не поверишь.

— Ладно, если ты его любишь,— вскричал он, выходя из себя,— то это великое горе для тебя, для меня, для твоей несчастной матери, потому что я сейчас скажу тебе нечто такое, что предпочел бы от тебя скрыть,— через три года Пьер погрузится в полнейшее безумие, он превратится в животное.

Он сурово посмотрел на дочь: он злился на нее за то, что она своим упрямством вынудила его на такую тяжелую откровенность.

Ева не шелохнулась, она даже не подняла глаз.

— Я знаю об этом.

— Кто тебе сказал? — спросил он в изумлении.

— Франшо. Уже полгода мне это известно.

— А я ведь очень просил его пощадить тебя, — с горечью сказал господин Дарбеда. — В конце концов, может быть, это и к лучшему. Но в этих обстоятельствах ты должна понять, что непростительно держать Пьера при себе. Борьба, которую ты затеяла, обречена, его болезнь не знает пощады. Если возможно было бы хоть что-то сделать, если можно было бы спасти его благодаря уходу, я не завел бы этот разговор. Но посмотри на себя: ты красивая, умная и веселая, ты бессмысленно убиваешь себя из-за какой-то блажи. Хорошо, все ясно, ты вела себя великолепно, но теперь все кончено, ты выполнила свой долг, даже больше чем долг; сейчас упорствовать уже аморально. У человека есть обязанности и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. *Необходимо*, — выговорил он, отчеканивая слова, — чтобы ты поместила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где видела одно горе, и вернешься к нам. Если тебе хочется быть полезной и облегчать страдания других, изволь, у тебя есть мать. Бедняжка, за ней ухаживают санитарки, но ей не помешало бы чуть больше родственного тепла. А она, — добавил он, — она сумеет оценить все, что ты для нее сделаешь, и будет благодарна тебе.

Наступила долгая тишина. Господин Дарбеда слышал, как в соседней комнате поет Пьер. Впрочем, это едва ли было пением, скорее разновидность речитатива, визгливого и стремительного. Господин Дарбеда в упор посмотрел на дочь:

— Значит, нет?

— Пьер останется со мной,— спокойно сказала она,— я хорошо с ним лажу.

— Да, конечно, надо лишь целыми днями валять дурака.

Ева улыбнулась и бросила на отца странный, насмешливый и почти веселый взгляд. «Это правда,— в ярости подумал господин Дарбеда,— они только этим и занимаются, она спит с ним».

— Ты совсем рехнулась,— сказал он, вставая.

Ева грустно улыбнулась и словно про себя ответила:

— Не совсем.

— Не совсем? Я могу сказать тебе лишь одно, дитя мое, ты меня пугаешь.

Он быстро поцеловал ее и вышел. «Надо привести двух дюжих молодцов,— думал он, сходя по лестнице,— забрать силой этот жалкий отброс и поставить под душ, не спрашивая у него разрешения.

Был прекрасный осенний день, тихий и прозрачный, солнце золотило лица прохожих. Господин Дарбеда был поражен простотой этих лиц: одни были морщинистые, другие — гладкие, но на всех отражались те радости и заботы, что были ему близки.

— Я точно знаю, в чем я упрекаю Еву,— говорил он себе, выходя на бульвар Сен-Жермен.— Я упрекаю ее в том, что она живет вне человеческого. Пьер уже не человек; отдавая ему свою заботу и свою любовь, она тем самым отнимает их у этих людей. Мы не имеем права отделяться от людей; как бы трудно нам ни было, мы все-таки живем в обществе.

Он с симпатией вглядывался в прохожих; ему нравились серьезные и ясные выражения их лиц. На этих солнечных улицах, среди этих людей, ты чувствуешь себя в безопасности, как в большой семье.

Женщина с непокрытой головой остановилась перед уличным лотком. Она держала за руку маленькую девочку.

— А что это такое? — спросила девочка, показывая на радиоприемник.

— Не трогай ничего, — сказала ей мать, — это радио, оно делает музыку.

Несколько минут они стояли молча, застыв в экстазе. Господин Дарбеда, растроганный, склонился к маленькой девочке и улыбнулся.

II

«Он ушел». Входная дверь, громко щелкнув, закрылась. Ева была одна в гостиной. «Я хотела бы, чтоб он умер».

Она вцепилась руками в спинку кресла; она вспоминала глаза своего отца: господин Дарбеда наклоняется над Пьером с видом знатока; он говорит ему: «Ну вот и хорошо!», словно человек, умеющий разговаривать с больными; он смотрит на него, и лицо Пьера отражается на дне его больших живых глаз. «Я ненавижу его, когда он так на него смотрит, когда я думаю о том, что он его *видит*».

Руки Евы скользнули вдоль кресла, и она повернулась к окну. Свет ослепил ее. Комната была залита солнцем, оно было повсюду: круглые пятна на ковре, ослепительная искрящая пыль в воздухе. Ева отвыкла от этого нескромного и пронырливого света, который рылся всюду, очищал все уголки и, как хорошая хозяйка, до блеска натирал мебель. Тем не менее она подошла к окну и приподняла муслиновую занавеску, закрывавшую стекло. Как раз в эту минуту господин Дарбеда вышел из дому; Ева сразу узнала его широкие плечи.

Он поднял голову, щурясь, посмотрел на небо и пошел размашистым шагом, словно молодой человек. «Он насилует себя,— подумала Ева,— скоро у него заколет в боку». Ненависти к нему она уже не испытывала: в его голове было совсем пусто, разве что жила жалкая забота о том, чтобы выглядеть молодым. Однако гнев снова охватил ее, когда он, повернув за угол на бульвар Сен-Жермен, исчез из виду. «Он думает о Пьере». Крошечная частица их жизни выскользнула из закрытой комнаты и тащилась по солнечным улицам, сквозь толпу. «Неужели нас никогда не оставят в покое?»

Улица дю Бак была почти безлюдна. Какая-то пожилая дама семенящей походкой переходила дорогу; смеясь, прошли три девушки. А потом мужчины, сильные и серьезные люди, которые несли папки, о чем-то переговаривались. «Вот они — нормальные люди»,— подумала Ева, с удивлением обнаружив в себе такую силу ненависти. Красивая полная женщина подбежала к элегантному господину. Он обнял ее и поцеловал в губы. Ева зло ухмыльнулась. И опустила занавеску.

Пьер петь перестал, но молодая женщина с четвертого этажа заиграла на пианино — это был этюд Шопена. Ева немного успокоилась; она направилась было в сторону комнаты Пьера, но сразу остановилась и, охваченная легкой тревогой, прислонилась к стене: всякий раз, когда она выходила из комнаты, ее охватывал страх при мысли о том, что ей придется вернуться туда. Обычно она отлично знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила комнату. Словно пытаясь выиграть немного времени, она с холодным любопытством окинула взглядом эту комнату без теней и без запаха, где она ожидала, чтобы к ней вернулось мужество. «Ну просто приемная дантиста». Обитые розовым шелком кресла, диван и стулья выглядели по-отечески строго и скромно — этакие добрые друзья человека. Ева

представила, как солидные и одетые в светлые одежды люди, точно такие же, каких она только что видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они не теряли времени даже на то, чтобы осмотреть место, куда они попали, они уверенным шагом прошли на середину комнаты; один из них, за которым его рука тащилась, словно след за кораблем, трогал по пути подушки, вещи, столы и даже не вздрагивал от соприкосновения с ними. А если какая-нибудь мебель мешала им пройти, эти степенные господа, вместо того чтобы обойти ее, спокойно переставляли ее на другое место. Наконец они уселись, все еще погруженные в свои разговоры, даже не оглянувшись назад. «Гостиная для нормальных людей»,— подумала Ева. Она пристально смотрела на ручку запертой двери, и волнение сжимало ей горло. «Мне надо пойти к нему. Я никогда не оставлю его одного так надолго. Надо будет открыть эту дверь». Потом Ева будет стоять на пороге, пытаясь приучить свои глаза к полутьме, а комната изо всех сил будет стараться вытолкнуть ее. Еве надо будет преодолеть это сопротивление и проникнуть в сердце комнаты. Ее вдруг охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей очень хотелось бы посмеяться вместе с ним над господином Дарбеда. Но Пьер в ней не нуждался; Ева не могла предугадать, какой прием он ей окажет. Она вдруг не без гордости подумала, что нет у нее больше места нигде. «Нормальные еще думают, что я одна из них. Но я и часа не могу пробыть с ними. Мне необходимо жить там, по ту сторону этой стены. Но там меня не ждут».

Вокруг нее все совершенно изменилось. Свет постарел, поседел, он отяжелел, словно вода в вазе с цветами, которую не меняли со вчерашнего дня. На этих предметах, в этом состарившемся свете Ева вновь обрела печаль, которую она давно забыла,— послеполуден-

ную печаль поздней осени. Она, нерешительная, почти оробевшая, озиралась вокруг — все было таким далеким, а там, в комнате, не было ни дня, ни ночи, ни осени, ни печали. Она смутно припомнила прежние очень давние осени, осени своего детства, но вдруг оцепенела: она боялась воспоминаний.

Послышался голос Пьера.

— Агата! Ты где?

— Иду,— ответила Ева.

Она открыла дверь и вошла в комнату.

Густой запах ладана ударял в ноздри, заполнял рот, а она широко раскрывала глаза и вытягивала вперед руки — запах и полумрак уже давно слились для нее в одну едкую и вязкую стихию, столь же простую и привычную, как вода, воздух или огонь; она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, плавало в тумане. Это было лицо Пьера; одежда Пьера (с тех пор, как он заболел, он одевался в черное) сливалась с темнотой. Пьер запрокинул голову и сидел закрыв глаза. Он был красив. Ева долго смотрела на его длинные, загнутые ресницы, потом присела рядом на низкий стул. «У него страдальческий вид», — подумала она. Глаза ее постепенно привыкали к полутьме. Первым выплыл письменный стол, потом кровать и, наконец, вещи Пьера: ножницы, банка с клеем, книги, гербарий, которые валялись на ковре у кресла.

— Агата?

Пьер открыл глаза, он с улыбкой смотрел на нее.

— Помнишь вилку? — спросил он. — Я сделал это, чтобы напугать того типа. В ней почти ничего не было.

Все страхи Евы развеялись, и она весело рассмеялась:

— У тебя очень хорошо получилось, ты его полностью из себя вывел.

Пьер улыбнулся.

— Ты видела? Он долго ее щупал, держал ее двумя руками. Все дело в том,— сказал он,— что они не умеют брать вещи; они грубо их хватают.

— Это верно,— сказала Ева.

Пьер слегка постучал указательным пальцем правой руки по ладони левой.

— Вот как они это делают. Они подносят к вещи свои пальцы, а схватив вещь, прихлопывают ее ладонью, чтобы убить.

Говорил он быстро, кончиками губ; вид у него был растерянный.

— Интересно, чего они хотят,— сказал он.— Этот тип уже приходил. Почему они подослали его ко мне? Если они хотят знать, чем я занимаюсь, им остается лишь прочесть об этом на экране, им даже не нужно выходить из дома. Они совершают ошибки. Они имеют власть, но допускают ошибки. Я же никогда не совершаю ошибок, в этом мой козырь. Хоффка,— сказал он,— хоффка.

Он замахал своими длинными руками перед лицом: «Ах, блядь! Хоффка, паффка, сюффка. Еще хочешь получить?»

— Это колокол? — спросила Ева.

— Да. Он уехал.— Он сурово продолжал: — Этот тип — мелкая сошка. Ты знаешь его, ты ушла с ним в гостиную.

Ева не ответила.

— А чего он хотел? — спросил Пьер.— Он должен был сказать тебе об этом.

Она на мгновение замешкалась, потом резко ответила:

— Он хотел, чтобы тебя заперли в лечебницу.

Если Пьеру правду говорили вкрадливо, он ей не верил, нужно было больно ушибить его правдой, чтобы

заглушить и парализовать его подозрения. Ева считала, что лучше обходиться с ним грубо, чем лгать: когда она лгала ему и казалось, что он ей верит, она не могла подавить в себе легчайшего ощущения превосходства, которое внушал ей ужас перед самой собой.

— Меня запереть! — с иронией повторил Пьер. — У них крыша поехала. Что мне стены? Они, наверное, думают, что стены могут меня остановить. Я спрашиваю себя иногда, а не существует ли на самом деле две банды. Настоящая — это банда негра. И банда путаников, которые во все суют свой нос и делают глупость за глупостью.

Он застучал рукой по подлокотнику кресла и с радостным видом на нее посмотрел.

— Через стены ведь можно пройти. И что же ты ему ответила? — спросил он, с любопытством обращаясь к Еве.

— Что тебя не запрут.

Он пожал плечами:

— Этого не надо было говорить. Ты тоже совершила ошибку, если, конечно, не сделала ее нарочно. Надо было вынудить их раскрыть карты.

Он умолк. Ева печально опустила голову. «Они грубо их хватают!» Каким презрительным тоном он это сказал и как это верно; и неужели я тоже хватаю вещи? Напрасно я слежу за собой, я думаю, что большинство моих жестов его раздражает. Но он об этом не говорит. Она вдруг почувствовала себя такой же несчастной, как в четырнадцать лет, когда госпожа Дарбеда, молодая и легкая, сказала ей: «Можно подумать, ты не знаешь, куда девать свои руки». Она боялась пошевеливаться, и, как назло, именно в эту минуту ее охватило непреодолимое желание сменить позу. Осторожно, едва касаясь ковра, она подтянула под стул ноги. Она посмотрела на настольную лампу, ножку которой

Пьер выкрасил в черный цвет, на шахматы. На доске Пьер оставил лишь черные пешки. Иногда он вставал, подходил к столику и брал пешки в руки. Он разговаривал с ними, называл их Роботами, и казалось, что в его пальцах они начинали жить какой-то тайной жизнью. Когда он ставил их на место, Ева тоже трогала их (ей казалось, что при этом она выглядит чуть комично), пешки вновь превращались в кусочки мертвого дерева, но в них оставалось нечто смутное и неуловимое, нечто имеющее смысл. «Это *его* вещи,— думала она.— В комнате больше нет ничего моего». В прошлом ей принадлежало кое-что из мебели. Зеркало и туалетный столик с инкрустацией, который достался ей от бабушки и который Пьер в шутку называл «*твой* столик». Вещи эти принес в комнату Пьер, и только ему вещи открывали свое истинное лицо. Ева могла часами наблюдать за ними — с каким-то постоянным и злым упрямством они старались обмануть ее, неизменно поворачиваясь к ней так же, как к доктору Франшо или господину Дарбеда,— лишь своей внешностью. «Хотя я вижу их не совсем такими, как мой отец,— с тревогой думала она.— Не может быть, чтобы я видела их так же, как и он».

Она слегка пошевелила коленями: ноги у нее затекли. Напряженное, одеревеневшее ее тело причиняло боль; она ощущала его, как слишком живое и нескромное. «Хорошо бы стать невидимкой и находиться здесь; я бы видела его, а он меня нет. Он во мне не нуждается; я совершенно лишняя в комнате». Она слегка повернула голову и взглянула поверх Пьера на стену. На стене были начертаны угрозы. Ева знала это, но не могла их прочесть. Она часто разглядывала большие красные розы на обоях, рассматривала их до тех пор, пока они не начинали прыгать у нее перед глазами. В полутьме розы пылали ярким пламенем. Чаще всего

угроза была выписана под потолком, слева от кровати, хотя иногда она смещалась. «Я должна встать, я больше не могу сидеть так, не могу». На обоях еще были белые круги, похожие на ломтики нарезанного лука. Круги закружились вокруг своей оси, и у Евы задрожали руки. «В какие-то мгновения я схожу с ума. Но нет,— с досадой думала она,— я *не могу* сойти с ума. Я просто нервничаю».

Неожиданно она почувствовала прикосновение руки Пьера.

— Агата,— нежно сказал Пьер.

Он улыбался ей, но держал ее руку кончиками пальцев с каким-то отвращением, словно он взял за туловище краба и старался, чтобы тот не схватил его клешнями.

— Агата,— сказал он,— мне так хотелось бы тебе доверять.

Ева закрыла глаза, и грудь ее слегка приподнялась. «Не надо ничего отвечать, иначе он опять замкнется в себе и больше не скажет ни слова».

Пьер отпустил ее руку.

— Я тебя очень люблю, Агата,— сказал он.— Но понять тебя не могу. Почему ты все время находишься в этой комнате?

Ева молчала.

— Ответь, почему.

— Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя,— сухо сказала она.

— Я тебе не верю,— сказал Пьер.— Почему ты должна меня любить? Я должен внушать тебе ужас: я ведь гонимый.

Он улыбнулся, но сразу стал серьезным:

— Между тобой и мной — стена. Я вижу тебя, говорю с тобой, но ты по ту сторону. Что же нам мешает любить друг друга? Мне кажется, что в прошлом это было легче. В Гамбурге.

— Да,— грустно сказала Ева.

Вечно этот Гамбург. Никогда не вспоминал об их настоящем прошлом. Они не были в Гамбурге.

— Мы прогуливались вдоль каналов. Там была одна лодка, помнишь? Черная лодка, а на палубе собака.

Он выдумывал на ходу, и вид у него был неискренний.

— Я держал тебя за руку; у тебя была иная кожа. Я верил всему, что ты мне говорила. Замолчите же,— закричал он.

На мгновение он прислушался.

— Они идут,— мрачно сказал он.

— Идут? Я думала, они больше никогда не вернуться.

Уже три дня Пьер был спокоен: статуи не появлялись. Пьер ужасно боялся статуй, хотя он с этим не соглашался. Ева же их не боялась, но когда они с шумом начинали летать по комнате, она сильно переживала за Пьера.

— Дай мне циутр,— попросил Пьер.

Ева встала и взяла циутр; это были несколько кусочков картона, собственноручно склеенных Пьером. Циутр служил для заклинания статуй. С виду он напоминал паука. На одном из кусочков Пьер написал: «Против козней»,— и на другом: «Черное». На третьем нарисовал улыбающуюся рожицу с прищуренными глазками: это был Вольтер. Взяв циутр за одну лапку, Пьер мрачно оглядел его.

— Он больше не может мне служить,— сказал он.

— Почему?

— Они его исказили.

— А ты не можешь сделать другой?

Пьер долго смотрел на нее.

— Тебе только этого и надо,— сквозь зубы процедил он.

Ева злилась на Пьера. «Каждый раз, когда они появляются, он об этом заранее знает. Как он это делает, он ни разу не ошибся».

Циутр безжизненно и жалко свисал с руки Пьера. «Он всегда находит веские причины, чтобы не пользоваться им. В воскресенье, когда они появились, он утверждал, что потерял его, но я-то видела его за банкой с клеем, и он просто не мог его не видеть. Интересно, уж не *сам* ли он их вызывает». Никогда нельзя было знать, до конца ли он искренен. В отдельные мгновения у Евы возникало впечатление, что в Пьере, вопреки его воле, поселяется сонм нездоровых мыслей и видений. Но в иные минуты ей казалось, что он попросту их выдумывает. «Он страдает. Но до какой степени *он верит* в статуи и негра? Статуй, во всяком случае, насколько я знаю, он не видит, только слышит: когда они проносятся мимо, он отворачивается, хотя и утверждает, что видит их; он даже пытается их описывать». Она вспомнила красное лицо доктора Франшо: «Но, милостивая государыня, все душевнобольные — лгуны, и вы зря потратите время, если захотите различить то, что они действительно ощущают, от того, что, по их утверждениям, они ощущают». Она вздрогнула: «При чем тут Франшо? Я не стану думать, как он».

Пьер поднялся; он пошел бросить циутр в корзину для бумаг. «Я хотела бы думать, как *ты*», — прошептала она. Пьер осторожно семеня маленькими шажками, прижав локти к телу, чтобы занимать как можно меньше места. Он вернулся, сел и с решительным видом посмотрел на Еву.

— Надо будет наклеить черные обои, — заметил он, — в комнате мало черного цвета.

Он съежился в кресле. Ева с грустью смотрела на это тощее тело, всегда готовое отступить, сжаться, — руки, ноги, голова напоминали органы, которые можно

убирать внутрь. На часах пробило шесть; пианино умолкло. Ева вздохнула: статуи не явятся сразу, надо будет их подождать.

— Хочешь, я зажгу свет?

Ева предпочитала бы не ждать их в темноте.

— Делай что хочешь, — сказал Пьер.

Она включила маленькую лампу на письменном столе, и красный туман заполнил комнату. Пьер тоже ждал.

Он молчал, но губы его шевелились — они были двумя темными пятнами в красном тумане. Еве нравились губы Пьера. Когда-то они были такие чувственные и волнующие, но они утратили свою чувственность. Они, чуть дрожа, разжимались и без конца сжимались, впиваясь друг в друга для того, чтобы снова разжаться. Только они оставались живыми на окаменевшем лице и казались двумя испуганными зверьками. Пьер мог часами что-то бормотать, не издавая при этом ни единого звука, и Еву часто завораживала эта упрямая мелкая дрожь. «Я люблю его рот». Он давно не целовал ее, он боялся прикосновений. Ночью его трогали сильные и шершавые руки мужчин, они щупали его тело, а руки женщин с очень длинными ногтями осыпали его грязными ласками. Часто он ложился спать не раздеваясь, но руки проскальзывали под одежду и дергали за рубашку. Однажды он услышал смех и чьи-то пухлые губы прижались к его губам. Именно с этой ночи он перестал целовать Еву.

— Агата, не смотри на мой рот! — сказал Пьер.

Ева опустила глаза.

— Я ведь знаю, что можно научиться читать по губам, — дерзко заметил он.

Рука его дрожала на подлокотнике кресла. Указательный палец вытянулся, трижды постучал по большому пальцу, а остальные сильно сжались — это было заклинание.

— Сейчас начнется,— подумала она. Ей захотелось обнять Пьера.

Пьер заговорил громко, вполне светским тоном:

— Ты помнишь Сан-Паулу?

Не отвечать. Это может быть ловушка.

— Я ведь там с тобой познакомился,— самодовольно сказал он.— Отобрал тебя у датского матроса. Мы чуть было не подрались, но я всем поставил выпить, и он позволил мне тебя увести. Все это было лишь комедией.

«Он врет, он не верит ни единому своему слову. Он знает, что меня зовут не Агата. Ненавижу его, когда он врет». Но она увидела его остекленевшие глаза, и гнев ее улетучился. «Он не врет,— думала она,— он просто на пределе. Он чувствует, что они приближаются; он говорит, чтобы не слышать их». Пьер вцепился обеими руками в ручки кресла. Лицо его было бледным, но он улыбался.

— Эти встречи часто бывают странными,— продолжал он,— но я не верю в случай. Я не спрашиваю, кто тебя послал, я знаю, что ты не ответишь. Во всяком случае, ты оказалась довольно ловкой, чтобы облить меня грязью.

Говорил он с трудом, резким голосом. Некоторые слова он произнести не мог, и они выделялись у него изо рта, словно мягкая, бесформенная масса.

— Ты увела меня в самый разгар праздника, провела между рядами черных автомобилей, но за ними таилась целая армия красных глаз, которые загорались, едва я отворачивался от них. Я думаю, что ты подавала им сигналы, повиснув у меня на руке, но я ничего не замечал. Я был весь слишком увлечен грандиозной церемонией Коронации.

Он смотрел прямо перед собой, широко раскрыв глаза. Он быстро провел рукой по лбу, продолжая говорить,— он не хотел молчать.

— Это была Коронация Республики,— взвизгнул он,— потрясающее в своем роде зрелище из-за множества разных животных, которых специально привезли из колоний на церемонию. Ты боялась потеряться среди обезьян. Я сказал: среди обезьян,— с надменным видом повторил он, оглядываясь по сторонам.— *Я мог бы сказать: и среди негров!* Ублюдки, которые ползают под столами и думают, что их никто не видит, обнаружены и на месте пригвождены моим Взглядом. Приказываю замолчать,— закричал он.— Молчать! Всем стоять на местах по стойке смирно при входе статуй, это приказ. Тралала,— протрубил он, рупором сложив у рта ладони,— тралалала, тралалалала.

Он замолчал, и Ева поняла, что статуи уже вошли в комнату. Он сидел оцепенев, бледный и надменный. Ева тоже словно застыла, и они оба молча ждали. Кто-то прошел по коридору — это была домработница Мари, которая, вероятно, и собиралась войти. Ева подумала: «Надо будет дать ей денег на оплату газа». И тут статуи начали летать: они пронеслись между Евой и Пьером.

Пьер произнес «Хан» и вжался в кресло, подобрал под себя ноги. Он отвернулся и изредка ухмылялся, но капли пота блестели у него на лбу. Ева не могла вынести вида этой бледной щеки, этих дрожащих губ, скривившихся в гримасе; она закрыла глаза. Золотые лики закружились на красном фоне ее век; она почувствовала себя старой и грязной. Рядом хрипло дышал Пьер. «Они летают, они жужжат, они наклоняются к нему...» Она ощутила легкую щекотку, какое-то стеснение в правом плече и в боку. Ее тело инстинктивно отклонилось влево, как бы стремясь увильнуть от неприятного прикосновения, пропустить тяжелый и

неуклюжий предмет. Неожиданно скрипнула половица, и у нее возникло безумное желание открыть глаза, посмотреть направо, разгоняя рукой воздух.

Она не шелохнулась; глаза ее оставались закрытыми, и терпкая радость заставила ее содрогнуться. «И мне тоже страшно»,— подумала она. Вся ее жизнь укрывалась сейчас справа от нее. Не открывая глаз, она наклонилась в сторону Пьера. Стоило ей сделать совсем небольшое усилие, и она впервые проникла бы в этот трагический мир. «Я боюсь статуй»,— думала она. Это было сильное и слепое утверждение, это были чары: всеми своими силами она хотела верить в то, что статуи — в комнате; ту тревогу, которая парализовала ее правую сторону, она пыталась превратить в новый смысл, в осязание. В руке, в боку и плече она чувствовала, как они пролетают.

Статуи летали низко и плавно, они жужжали. Ева знала, что у них лукавый вид и что ресницы торчат вокруг каменных глаз, но она плохо себе их представляла. Она знала также, что статуи еще не вполне ожили, хотя заплаты из живой плоти, мягкая чешуя местами появлялись на их огромных телах; камень на кончиках их пальцев облупился, а ладони у них чесались. Ева не могла *видеть* всего этого; она лишь думала, что огромные женщины мчатся прямо на нее, торжественные и причудливые, с человеческим выражением лица и твердым упорством камня. «Они склоняются над Пьером». Ева так сильно напряглась, что у нее задрожали руки. «Они склоняются ко мне...» Вдруг жуткий крик холодом сковал ее тело. «Они дотронулись до него». Она открыла глаза — Пьер обхватил голову руками, он часто дышал. Ева почувствовала себя совершенно выложившейся. «Игра,— с сожалением думала она,— это была лишь игра, ни на мгновение я искренне не верила во все это. И все это время он по-настоящему страдал».

Пьер весь размяк и тяжело дышал. Но зрачки его оставались странно расширенными; он обливался потом.

— Ты видела их? — спросил он.

— Я не смогла их увидеть.

— Так лучше для тебя, они бы тебя напугали,— сказал он.— Ну а я к ним уже привык.

Руки у Евы все еще дрожали, в висках стучало. Пьер достал из кармана сигарету и поднес ко рту, но не прикуривал ее.

— Мне все равно, я могу смотреть на них сколько угодно, но не желаю, чтобы они меня касались: боюсь, еще заразят меня прыщами.

Он на мгновение задумался, потом сказал:

— Ты их слышала?

— Да,— сказала Ева,— это как мотор самолета. (Это сказал ей Пьер в прошлое воскресенье.)

Пьер снисходительно улыбнулся.

— Ты преувеличиваешь,— сказал он. Но по-прежнему был очень бледен. Он посмотрел на руки Евы: — У тебя дрожат руки. Тебя взволновало это, бедная моя Агата. Но не переживай: до завтра они не вернуться.

Ева не могла говорить; у нее стучали зубы, и она боялась, как бы Пьер не заметил этого. Пьер долго ее разглядывал.

— Ты ужасно красива,— сказал он, покачивая головой.— Жаль, по-настоящему жаль.

Он быстро протянул руку и коснулся ее уха.

— Моя прекрасная дьяволица! Ты мне немного мешаешь, ты слишком красива — это меня отвлекает. Если не будет регрессии...

Он замолчал и удивленно взглянул на Еву.

— Нет, не то слово... Оно пришло... оно пришло,— сказал он, таинственно улыбаясь.— У меня на языке вертелось другое... а это... вытеснило его. Я забыл, что хотел сказать тебе.

Он задумался на мгновение и покачал головой.

— Ладно,— сказал он,— я посплю немного.— И прибавил по-детски капризно: — Ты знаешь, Агата, я так устал. Не могу собрать свои мысли.

Он бросил сигарету и тревожным взглядом окинул ковер. Ева подложила ему под голову подушку.

— Ты тоже можешь поспать,— закрывая глаза, сказал он,— больше они не вернутся.

«Регрессия». Пьер спал, расплывшись в полублаженной улыбке; голова его чуть склонилась в сторону, казалось, что ему хотелось потереться щекой о свое плечо. Сон к Еве не шел, она все повторяла: «Регрессия». У Пьера вдруг появилось идиотское выражение, и с языка сорвалось это слово, длинное и бесцветное. Пьер удивленно смотрел прямо перед собой, словно видел это слово, но не мог его узнать; его приоткрытый рот обмяк, казалось, что в нем что-то надломилось. Он заговаривался. Это случалось с ним впервые: кстати, он сам обратил на это внимание. Он сказал, что не может собрать своих мыслей. Пьер издал тихий, сладострастный стон, и его рука слегка шевельнулась. Ева испытующе смотрела на него: каким он проснется? Именно это терзало ее. Едва Пьер засыпал, она задумывалась об этом и отогнать свои мысли никак не могла. Она боялась, как бы он снова не проснулся с этими бегающими глазами и опять не стал бы бредить. «Какая я глупая,— подумала она.— Это должно начаться не раньше чем через год, как мне сказал Франшо». Но тревога не покидала ее: один год, одна зима, одна весна, одно лето, начало еще одной осени. И наступит день, когда черты его лица исказятся, челюсть отвиснет и он с трудом будет приоткрывать слезящиеся глаза. Ева склонилась к руке Пьера и коснулась ее губами: «Но я убью тебя раньше».



На людей надо смотреть с высоты. Я выключаю свет и становлюсь у окна; они даже не подозревают, что их можно разглядывать сверху; они заботятся об анфасе, иногда о спине, но все их уловки рассчитаны на наблюдателя в метр семьдесят ростом. Думал ли кто однажды о форме, которую принимает цилиндр, рассматриваемый, скажем, с седьмого этажа? Из простой небрежности они не защищают своих плеч и черепов пестрыми красками и яркими тканями, не умеют бороться с могущественнейшим врагом челове-

чества — глубинной перспективой. Я наклоняюсь, и меня разбирает смех: где же она, эта знаменитая «прямая походка», которой они так гордятся? Они раздавлены на тротуаре, и две длинные полуползущие конечности выступают из-под их плеч.

На балконе седьмого этажа — вот где я должен прожить всю жизнь. Следует поддерживать нравственное превосходство материальными символами, без которых оно падет. Иначе в чем же, собственно, заключается мое превосходство над людьми? В превосходстве позиции, ни в чем ином: я поставил себя над человеком, который сидит во мне, и созерцаю его. Вот почему я люблю башни собора Нотр-Дам, платформы Эйфелевой башни, Сакр-Кер и мой седьмой этаж на улице Делабр. Превосходная символика.

Но иногда надо спускаться на улицу. Чтобы пойти в контору, например. Я задыхаюсь. Когда ты вровень с людьми, гораздо труднее представлять их букашками: они тебя касаются. Однажды я увидел на улице мертвого. Он упал ничком; его перевернули; из носа шла кровь. Я увидел его открытые глаза, весь его глупый вид и эту кровь. Я сказал себе: «Это ерунда, это не более волнующе, чем свежая краска. Ему вымазали нос красной краской, вот и все». Но я ощутил мерзкую слабость в ногах и затылке, потерял сознание. Меня отнесли в аптеку, трясли за плечи и заставили выпить что-то спиртное. Я убью их.

Я знаю, что они мои враги, но они этого не знают. Они любят друг друга, пожимают друг другу руки. А меня... меня они иногда похлопывали по плечу, потому что считали себе подобным. Но если бы они могли знать самую нелицеприятную часть правды, они бы меня избили. Впрочем, позднее они так и сделали. Когда меня схватили и когда они поняли наконец, кто я, они устроили мне страшную трепку... в комисса-

риате, они били меня в течение двух часов, начав с оплеух, потом били кулаками и выкручивали руки, затем содрали с меня штаны, в довершение всего швырнули мои очки на землю и, пока я, ползая на четвереньках, искал их, хохоча, пинали еще под зад. Я всегда знал, что они закончат избиением меня: я не слишком силен и не могу себя защитить. Они, сильные, давно уже меня подстерегают; они толкали меня на улице, чтобы посмеяться, посмотреть, чем я отвечу. Я молчал. Делал вид, будто ничего не понимаю. Однако они продолжали делать свое дело. Я боялся их — это было предчувствие. Хотя вы, конечно, понимаете, что у меня были и более серьезные причины их ненавидеть.

В этом смысле все пошло гораздо лучше с того дня, как я купил револьвер. Всегда чувствуешь себя сильным, когда предусмотрительно держишь при себе одну из тех штучек, которые могут взорваться и наделать шуму. Я взял его с собой в воскресенье, просто положил в карман брюк и пошел гулять, как обычно, на бульвары. Я чувствовал, как он упрямым крабом вцепился в мои брюки, бедром ощущал его холодок. Но от соприкосновения с моим телом он стал постепенно согреваться. Я шел немного скованно — походкой человека с возбужденным членом, старающегося скрыть это от окружающих. Я опускал руку в карман и трогал его. Время от времени я заходил в туалет — но даже внутри я был очень внимателен, так как там ведь тоже могут быть соседи, — и вынимал мой револьвер; я пробовал его на вес и рассматривал рукоятку, всю в черных квадратах, спусковой крючок, похожий на полуприкрытое веко. Другие, те, кто смотрел снаружи на мои расставленные ноги и отвороты брюк, думали, что я мочусь. Хотя я никогда не мочился в писсуарах.

Однажды вечером мне пришла мысль стрелять в людей. Это был субботний вечер; я вышел, чтобы найти

Леа, блондинку, стоявшую обычно перед отелем на улице Монпарнас. Я никогда не жил интимной жизнью с женщиной; я бы почувствовал себя обкраденным. Конечно, вы взбираетесь на них сверху, но они пожирают нижнюю часть вашего живота своей большой волосатой пастью, и, как я слышал, именно они и выигрывают на этом обмене. Я же ни от кого ничего не требую, но и ничего не хочу отдавать. Или, впрочем, мне бы подошла холодная, набожная женщина, которая терпела бы меня, подавляя в себе отвращение. В первую субботу каждого месяца я поднимался с Леа в один из номеров отеля Дюшене. Она раздевалась, а я смотрел на нее, не прикасаясь к ней. Иногда это отделялось в брюки само собой, но бывало и так, что я успевал вернуться к себе и там уже сам все заканчивал. Этим вечером я не нашел ее на своем посту. Я подождал немного и, так как она все не приходила, решил, что она занята. Было начало января, и стояли сильные холода. Я был огорчен; у меня живое воображение, и я сразу стал думать о том удовольствии, которое мог бы получить этим вечером. На Одесской улице я часто замечал одну брюнетку, немного перезрелую, довольно пухленькую, но вполне еще крепкую; перезрелые женщины мне не противны: когда они раздеты, вид у них гораздо более голый, чем у остальных. Но она не знала о моих условиях, и необходимость сказать ей об этом прямо меня немного пугала. И кроме того, я не доверяю новым знакомым: такие женщины запросто могут спрятать за дверью какого-нибудь мерзавца, а этот тип нагрянет внезапно и отберет у вас все ваши денежки. И вам еще повезет, если он вдобавок ко всему вас не отколотит. Этим вечером у меня, не знаю откуда, появилась вдруг храбрость, и я решил вернуться к себе за револьвером и попробовать поискать приключений.

Когда через четверть часа я подошел к женщине, в кармане у меня лежал револьвер и я уже ничего не боялся. Вблизи вид у нее был еще более жалкий. Она была похожа на мою соседку напротив, жену подпрапорщика, и это мне было приятно, потому что мне давно уже хотелось увидеть ее голой. Когда мужа не было дома, она одевалась при отворенном окне, и я часто, спрятавшись за занавеской, старался ее подстеречь. Но одевалась она всегда в глубине комнаты.

В гостинице «Стелла» свободной оставалась только одна комната на четвертом этаже. Мы стали подниматься. Женщина была довольно грузной и останавливалась на каждой ступеньке, чтобы отдышаться. Я же чувствовал себя вполне легко; тело у меня поджарое, и, несмотря на живот, нужно больше чем четыре этажа, чтобы вызвать у меня одышку. На площадке четвертого она, тяжело дыша, взялась правой рукой за сердце. В левой она держала ключ от номера.

— Высоко,— сказала она, пытаюсь мне улыбнуться.

Ничего не ответив, я взял у нее ключ и открыл дверь.левой рукой я сжимал револьвер, направленный прямо через карман, и не отпустил его, пока не повернул выключатель. Комната была пуста. На умывальнике лежал маленький квадратик зеленого мыла. Я улыбнулся: мне не нужны были ни биде, ни маленькие квадратик мыла. Женщина громко дышала за моей спиной, и это меня возбуждало. Я повернулся; она протянула мне губы. Я оттолкнул ее.

— Раздевайся,— сказал я ей.

В комнате стояло мягкое кресло; я удобно в нем устроился. Именно в таких случаях я жалею, что не курю. Женщина стала снимать платье, затем остановилась, бросив на меня недоверчивый взгляд.

— Как тебя зовут? — спросил я ее, откидываясь назад.

— Рене.

— Прекрасно, Рене, поспеши, я жду.

— Ты не разденешься?

— Да нет, — сказал я ей, — обо мне не думай.

Она уронила к ногам трусы, затем подняла их и заботливо уложила на платье рядом с бюстгальтером.

— Значит, ты — маленький развратник, мой дорогой ленивец? — спросила она. — Ты хочешь, чтобы всю работу за тебя сделала твоя маленькая девочка?

Говоря это, она шагнула ко мне и, опершись руками о ручки кресла, попыталась стать меж моих ног. Но я грубо поднял ее:

— Да нет же, нет.

Она посмотрела на меня с удивлением:

— Но чего же ты хочешь, что я должна делать?

— Ничего, просто ходи, походи немного туда-сюда, больше от тебя мне ничего не нужно.

Она принялась неуклюже расхаживать по комнате. Ничто так не раздражает женщин, как ходить раздетыми. Они не умеют ставить ноги на полную ступню. Проститутка ссутулилась и свесила руки. Что же до меня, то я был в восторге: я спокойно сидел в кресле, одетый, как на бал, — даже не снял перчаток, — а эта взрослая женщина по моей команде разделась догола и выставляла себя напоказ.

Она повернула ко мне голову и, чтобы овладеть ситуацией, кокетливо мне улыбнулась:

— Ты находишь меня красивой? Тебе приятно?

— Не твоя забота.

— Скажи, пожалуйста, — спросила она с внезапной яростью, — долго ты намерен так меня мучить?

— Садись.

Она села на кровать, и мы стали молча смотреть друг на друга. Кожа ее покрылась пупырышками.

Было слышно тиканье часов за стеной. Неожиданно для нее я сказал:

— Раздвинь ноги.

Она помешкала с долю секунды, затем подчинилась. Я смотрел ей между ног и сопел. Потом я начал хохотать, да так, что на глазах у меня выступили слезы. Я ей сказал просто:

— Ты что-нибудь понимаешь?

И опять принялся хохотать.

Она смотрела на меня, словно остолбенев, затем страшно покраснела и сдвинула ноги.

— Подлец,— процедила она сквозь зубы.

Но я засмеялся еще громче, и тогда она резко встала и взяла со стула свой бюстгальтер.

— Постой,— сказал я ей,— это еще не все. Я дам тебе пятьдесят франков, но и я хочу за них кое-что получить.

Она нервно схватила свои трусы.

— Мне это надоело, ты понимаешь. Я не знаю, чего ты хочешь. Если ты привел меня сюда, чтобы издеваться надо мной...

Тогда я достал мой револьвер и показал ей. Она посмотрела на меня серьезно и, ничего не сказав, бросила трусы.

— Валяй,— сказал я ей,— шагай.

Она ходила еще минут пять, затем я дал ей мою трость и заставил немного поупражняться. Когда я почувствовал, что мои кальсоны стали влажными, я встал и протянул ей банкноту в пятьдесят франков. Она взяла ее.

— До свиданья,— прибавил я,— думаю, не очень утомил тебя за эту плату.

Я ушел, оставив ее стоять совершенно голой посреди комнаты с бюстгальтером в одной руке и банкнотой в пятьдесят франков — в другой. Я не жалел о деньгах:

я ошеломил ее, а это не так-то просто — удивить шлюху. Спускаясь по лестнице, я думал: «Так вот чего я хочу — удивить всех». Я радовался, как ребенок. Я захватил с собой зеленое мыло и, вернувшись к себе, долго разминал его под теплой водой, пока оно не превратилось в маленький шарик, похожий на обсоленную мятную конфету.

Но ночью, вздрогнув, я вдруг проснулся; я вновь увидел ее лицо, глаза, какими они стали, когда я достал револьвер, и ее жирный, подпрыгивающий при каждом шаге живот.

«Какой же я дурак»,— сказал я себе. Я горько раскаивался: мне надо было выстрелить, сделать из этого живота решето. В эту и три последующие ночи мне снился пупок, окруженный шестью маленькими красными дырочками.

В дальнейшем я уже больше не выходил из дому без револьвера. Я смотрел в спину людям и по их походке пытался представить, как они будут падать, если в них начнут стрелять. По воскресеньям я взял себе в привычку стоять перед Шателе ко времени выхода публики после концерта классической музыки. Около шести часов звенел звонок, и швейцары направлялись к стеклянным дверям, чтобы отворить их и закрепить защелками. Это было началом: толпа медленно вытекала наружу; люди ступали легким порхающим шагом; глаза еще полны всяких видений; сердца переполнены милыми сантиментами; многие из них озирались по сторонам с удивленным видом — улица, должно быть, казалась им совсем голубой. Они загадочно улыбались, переходя из одного мира в другой. И в этом другом мире их ждал я. Я опускал правую руку в карман и со всей силой сжимал рукоятку оружия. Немного погодя я уже видел себя стреляющим в них. Они покатаются, как пустые бочонки, падая один на другого, а идущие сзади в

панике бросятся назад в театр, разбивая стеклянные двери. Это была очень возбуждающая игра; в конце концов у меня начинали дрожать руки, и я шел к Дрехеру и пил коньяк, чтобы хоть немного успокоиться.

Женщин я бы не стал убивать. Я бы стрелял им в чресла. Или, пожалуй, в икры, чтобы заставить их немного поплясать.

Я еще не решил ничего. Но за дело я взялся так, словно решение мной уже было принято. Начал я с деталей. Я упражнялся на стенде, на ярмарке в Денфер-Рошро. Успехи мои были весьма скромными, но ведь люди довольно крупные мишени, особенно если стрелять в упор. Затем я занялся саморекламой. Я выбрал время, когда все мои коллеги были в конторе. Утро понедельника. Я старался быть подчеркнуто любезным с ними из принципа, тем более что всегда испытывал страх перед необходимостью пожимать руки. Они снимают перчатки, когда здороваются, у них какая-то непристойная манера оголять руки — медленным, скользящим вдоль пальцев движением стягивать перчатку, приоткрывая жирную и мятую наготу ладони. Я никогда не снимаю перчаток.

В понедельник утром не особенно работается. Машинистка коммерческой службы принесла нам квитанции. Лемерсье вежливо пошутил с ней, и, когда она вышла, коллеги с видом пресыщенных знатоков принялись перебирать ее прелести. Затем стали говорить о Линдберге. Они обожают Линдберга.

— А мне нравятся черные герои, — сказал я.

— Негры? — спросил Массе.

— Нет, черные в том смысле, как когда говорят, к примеру, черная магия. Линдберг — белый герой. И меня он не интересует.

— Не так уж и легко пересечь Атлантический океан, — язвительно заметил Буксин.

Тогда я объяснил им свою концепцию «черного» героя.

— Анархист,— подвел итог Лемерсье.

— Нет,— медленно возразил я,— анархисты любят людей, только на свой манер.

— Чушь.

Но тут Массе, который был все-таки образованным, вмешался:

— Я знаю, о каком герое вы говорите. Его звали Герострат. Он хотел стать знаменитым и не смог придумать ничего лучшего, чем сжечь храм в Эфесе, одно из семи чудес света.

— А как звали архитектора этого храма?

— Не помню,— признался он,— даже думаю, что имя его неизвестно.

— Правда? Но вы помните имя Герострата? Видите, он не так уж ошибся в расчетах.

На этом наш разговор закончился, хотя я был уверен, что придет время и они его вспомнят. Что до меня, то мне, до сих пор ничего не слышавшему о Герострате, история эта придавала новых сил. Уже более двух тысяч лет прошло после его смерти, но поступок его все еще сверкал черным алмазом. Мне стало казаться, что судьба моя должна быть короткой и трагичной. Вначале это слегка пугало меня, но потом постепенно я привык. Конечно, если смотреть на все определенным образом, то это жестоко, хотя, с другой стороны, это приносит мгновения необыкновенной яркости и красоты. Теперь, выходя на улицу, я ощущал в своем теле странную неудержимую силу. Со мной был мой револьвер — штука, которая взрывается и производит шум. Но не он вселял в меня уверенность, я сам был существом из породы револьверов, гранат и бомб. И я тоже в один прекрасный день, в самом конце моей бесцветной жизни, взорвусь и осветю мир яростным и кратким,

как вспышка магния, светом. В то время часто, по ночам, воображение мое рисовало одну и ту же картину. Я анархист, ожидаю в засаде проезда царя, и у меня в руках адская машина. В положенное время проезжает кортеж, бомба взрывается, и на глазах у всей толпы мы взлетаем на воздух: я, царь и три разряженных в золото офицера.

Я неделями не появлялся в конторе. Гулял по бульварам среди моих будущих жертв или, запершись в своей комнатке, строил всевозможные планы. С работы меня уволили в начале октября. Досуг свой я заполнял теперь составлением нижеследующего письма, которое переписал затем в ста двух экземплярах:

«Месье!

Вы знамениты, и труды ваши издаются тысячными тиражами. Я скажу вам почему: потому, что вы любите людей. Гуманизм у вас в крови, и это, конечно, большое счастье. В компании вы прямо расцветаете, едва завидя одного из себе подобных. Не зная даже его имени, вы уже чувствуете к нему симпатию. Вам нравится его тело, весь тот манер, на какой он сложен, его ноги, которые он может раздвинуть и сдвинуть по своей воле, и его руки, особенно руки: вам ужасно приятно, что на каждой руке у него по пять пальцев и что он может противопоставить большой палец остальным. Вы наслаждаетесь, глядя, как сосед ваш берет со стола чашку, потому что ведь существует особая манера брать предметы, исключительно человеческая, так часто описываемая в ваших трудах: менее ловкая и не такая быстрая, как у обезьян, но — а разве нет? — насколько более разумная. Да, вы любите человека, его походку выздоравливающего после тяжелого ранения, его вид изобретающего ходьбу при каждом шаге и его знаменитый взгляд, который не могут выдержать животные. Вы легко находите тон, которым удобнее всего говорить

с ним о нем же самом,— тон смущенного целомудрия. Люди с жадностью набрасываются на ваши книги, они читают их в удобных креслах и мечтают о большой любви, несчастной и скромной, которую вы им преподносите, и это во многом их утешает — и в том, что они ленивы и трусливы, что их обманывают жены и что первого января прибавки к жалованью не будет. И они с облегчением говорят о вашем последнем романе: о, изумительно!

Полагаю, вы будете удивлены, если узнаете, что есть на свете некто, не любящий людей. Да, этот некто — я, и я люблю их так мало, что очень скоро собираюсь настрелять их с полдюжины; вы спросите, почему с полдюжины? Потому что в мой револьвер вмещается только шесть патронов. Чудовищно, не правда ли? И более того, что за аполитичная акция? Но, повторяю вам, я не могу их любить. Прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Но ведь именно то, что привлекает вас в них, мне как раз и отвратительно. Я не раз видел, как вы, люди, размеренно пережевываете пищу, стараясь сохранять достойный вид и перелистывая при этом экономический журнал. И разве моя вина в том, что я предпочитаю присутствовать при кормлении тюленей? Что бы человек ни пытался сделать со своим лицом, все это непременно оборачивается какой-то физиономической игрой. Когда он жует с закрытым ртом и уголки его рта поднимаются и опускаются, вид у него непрерывно сменяющихся безмятежности и удивленной плаксивости. Вы любите это, я знаю, вы называете это неусыпной работой духа. Но мне это противно, не знаю почему; таким уж я уродился.

Если бы различие между нами сводилось к различию во вкусах, я бы не надоедал вам. Но впечатление такое, словно у вас есть вкус, а у меня его нет. Я волен любить или не любить американских раков, но если я не люблю

людей, я — отверженный и нет мне места под солнцем. Они — единственные владельцы секретов жизни. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Вот уже тридцать три года я постоянно натываюсь на закрытые двери, на которых написано: «Пусть ничто бесчеловечное не войдет сюда». Что бы я ни пробовал начать, я вынужден бывал бросить. Приходилось выбирать: либо попытка эта оказывалась бессмысленной и заранее обреченной, либо рано или поздно она оборачивалась к их выгоде. Мысли, так или иначе с ними не связанные, мне не удавалось в себе выделить, сформулировать; они пребывали во мне, подобно неуловимым органическим процессам. Инструменты, которыми мне приходилось пользоваться, я чувствовал, принадлежали им, слова например; я хотел слов для себя. Те же, которыми я располагаю, истрепаны в не счесть скольких сознаниях; они выстраиваются сами в моей голове в силу привычки, которую они переняли от других, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне бесконечно противно пользоваться ими. Но все это в последний раз. Говорю вам: любите людей, иначе будет совершенно справедливо, если они позволят вам заниматься одними лишь пустяками. Что же до меня, то я не желаю заниматься пустяками. Придет время, я возьму свой револьвер, выйду на улицу, и тогда посмотрим, возможно ли что-нибудь сделать вопреки им. Прощайте, месье, быть может, это именно с вами я и встречу. Впрочем, вы так никогда и не узнаете, с каким удовольствием я размозжу вам череп. А может — и это наиболее вероятно, — вы просто прочтете завтрашние газеты. И увидите, что некто по имени Поль Гильбер в приступе бешенства убил пятерых прохожих на бульваре Эдгара Кине. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, чего стоят все эти выводы так называемой большой прессы. Вы, конечно, поймете, что я вовсе не «взбешен». Напротив.

я очень спокоен и прошу принять от меня, месье, заверения в моем особом к вам расположении.

Поль Гильбер».

Я вложил сто два письма в сто два конверта и написал на конвертах адреса ста двух французских писателей. Затем я положил их в ящик моего стола рядом с шестью альбомами марок.

В течение последующих двух недель я выходил очень редко, мне необходимо было проникнуться духом моего преступления. В зеркале, куда я иногда заглядывал, я с удовлетворением замечал изменения, которые происходили с моим лицом. Увеличились глаза, они почти поглотили все остальное. Под пенсне они стали черными и мягкими, и я вращал ими, как двумя белыми глобусами. Прекрасные глаза художника и убийцы! Но я рассчитывал измениться еще больше после совершения убийства. Я видел фотографии красивых скромных девушек, служанок, что убивали и грабили своих хозяек. Я видел их фотографии *до* и *после*. *До* их сдержанные лица целомудренными цветами выступали из гордых чопорных ваз их пикейных воротничков. Они благоухали чистотой и доверчивой искренностью. У них были одинаковые скромные завивки. Но больше, чем их завитые волосы, воротнички, эти выражения позирующих фотографу были похожи на лица сестер; и сходство это было такого рода, что в сознании сразу всплывали понятия вроде кровных уз и фамильных корней. *После...* после их лица ослепительно пылали. У них были оголенные шеи будущих обезглавленных. И всюду, всюду морщины — эти ужасные следы страха и ненависти, складки, ямы на коже, словно какое-то животное своими когтями избородило их лица. И глаза, большие черные и бездонные, как у меня. И теперь они уже не были похожи друг на друга. На каждой по-своему запечатлелся след их обще-

го преступления. «Если, — говорил себе я, — достаточно проступка, большую часть которого составляет случайное, чтобы так изменить облик этих несчастных, чего же можно ожидать от преступления, от начала и до конца задуманного и исполненного мной самим? Оно целиком завладеет мной и уничтожит эту слишком уж человеческую уродливость... преступление, оно надвое делит жизнь совершившего его. Возможно, наступают мгновения, когда хочется вернуться назад, но оно там, за вами, закрывает вам проход. Я хочу лишь часа наслаждения моим собственным преступлением, хочу почувствовать его неудержимую роковую тяжесть. И я сделаю все, чтобы в этот час оно было моим; я совершу его на Одесской улице и, воспользовавшись паникой, скроюсь, оставив их подбирать своих мертвых. Я побегу, пересеку бульвар Эдгара Кине, затем сверну на улицу Делаамбр. Мне достаточно будет тридцати секунд, чтобы пробежать до дома. Преследователи мои (к этому времени) будут еще на бульваре, они потеряют мой след, и наверняка им понадобится больше часа, чтобы вновь напасть на него. Я буду их ждать и, когда услышу стук в дверь, выстрелю себе в рот.

Я стал жить более расточительно; я договорился с одним трактирщиком с улицы Вавин, и он два раза в день, утром и вечером, присылал мне на дом очень вкусную еду. Звонил приказчик, я, не открывая, ждал несколько минут, затем слегка приотворял дверь и видел стоящую на полу длинную корзину с полными, вкусно пахнущими тарелками.

К шести часам вечера двадцать седьмого октября у меня оставалось семнадцать с половиной франков. Я взял револьвер, пачку писем и вышел. Дверь я оставил открытой, чтобы, вернувшись после совершения акции, суметь побыстрее войти. Чувствовал я себя очень

нехорошо, руки мои были холодны, голова, казалось, лопалась от прилива крови, а глаза неприятно слезились, охваченные каким-то непонятным зудом. Я стал разглядывать магазины. Гостиница «Эколь», лавка канцелярских принадлежностей, где я покупал свои карандаши, — я не мог их узнать. Я спрашивал себя: «Что это за улица?» На бульваре Монпарнас было полно людей. Они задевали меня, толкали, цепляли своими локтями и плечами. Я им покорился, сил сопротивляться у меня не было. Внезапно в самой гуще этой толпы я почувствовал себя ужасно одиноким и ничтожным. Как легко они могли причинить мне боль, если бы только захотели! Я боялся за револьвер в моем кармане. Мне казалось, сейчас они догадаются, что он там. Они посмотрят на меня своими суровыми глазами, и скажут «Но... но...» с напускным негодованием, и схватят меня своими человеческими лапками. «Линчевать его!» Они подбросят меня вверх, над головами, и простой марионеткой я упаду назад им в руки. Я решил, что будет более разумным перенести на завтра выполнение моего замысла. Я пошел в «Ля Куполь» и пообедал на шестнадцать франков восемьдесят сантимов. У меня осталось семьдесят сантимов; их я выбросил в сточную канаву.

Три дня я сидел дома без пищи и сна. Я запер ставни и не осмеливался ни подойти к окну, ни зажечь свет. В понедельник в мою дверь кто-то позвонил. Затаив дыхание, я ждал. Через минуту позвонили опять. На цыпочках я подошел к двери и посмотрел в замочную скважину. И увидел лишь кусочек черной ткани, пуговицу. Позвонив еще раз, неизвестный спустился по лестнице; не знаю, кто это был. Ночью у меня начались видения: пальмы, струящиеся воды, лиловый купол неба. Жажды я не испытывал, ибо время от времени пил из-под крана умывальника. Но я был голоден. Мне привиделась также черноволосая проститутка.

Дело происходило во дворце, построенном мной на Кост-Нуар в двадцати лье от ближайшего населенного пункта. Она была обнажена, и мы были одни. Под дулом револьвера я заставил ее встать на четвереньки и пройти так четыре шага, затем я привязал ее к столбу и после долгого объяснения, что я намереваюсь с ней сделать, всю ее изрешетил пулями. Сцена эта так меня возбудила, что я был вынужден освободиться. Затем я долго оставался лежать недвижимым, в ночи, с абсолютно пустой головой. Начала скрипеть мебель. Пробыло пять утра. Я был готов на что угодно, лишь бы выбраться из этой комнаты, но я не мог выйти из-за всех этих людей на улицах.

Наступил день. Голода я больше не чувствовал, но начал страшно потеть: рубашка моя насквозь промокла. На дворе светило солнце. Я стал думать: «В закрытой комнате он затаился в ночи. Три дня он не ел и не спал. Звонили, он не открыл. Сейчас он выйдет на улицу и будет убивать». Мне стало страшно. В шесть часов вечера меня опять охватил голод. Я одурел от ярости. Налетел на какую-то мебель, включил свет в комнате, на кухне, в туалете. Я принялся распевать что-то во весь голос, затем вымыл руки и вышел. Мне понадобилось целых две минуты, чтобы опустить в почтовый ящик письма. Я просовывал их пачками по десять штук. Несколько конвертов я помял. Затем я прошел по бульвару Монпарнас и дошел до Одесской улицы. Задержавшись перед зеркалом галантереи и внимательно рассмотрев свое лицо, я подумал: «Итак, сегодня вечером».

Я остановился возле газового фонаря в конце Одесской улицы и стал ждать. Мне было холодно, но я обильно потел. Через некоторое время я увидел трех приближающихся ко мне мужчин; я дал им пройти: мне нужно было шесть. Тот, что шел слева, посмотрел на меня и прищелкнул языком. Я отвел глаза.

В семь пятнадцать две группы одна за другой вышли с бульвара Эдгара Кине. Впереди мужчина и женщина с двумя детьми. За ними шли три старухи. Я шагнул вперед. У женщины был разгневанный вид, и она трясла маленького мальчика за руку. Мужчина проговорил протяжным голосом:

— Надоел мне этот негодник.

Я выдвинулся еще дальше и стал неподвижно прямо у них на пути. Мои пальцы в кармане бессильно держались за рукоятку.

— Извините,— сказал мужчина, столкнувшись со мной.

Я вспомнил, что запер входную дверь моей квартиры, и это меня смутило: я потеряю драгоценное время. Люди стали удаляться. Я развернулся и машинально пошел за ними. Но стрелять в них мне уже расхотелось. Они смешались с бульварной толпой. Я прислонился к стене. Услышал, как часы пробили восемь и затем девять часов. Я повторял: «Зачем убивать всех этих людей, которые и так уже мертвы», и мне хотелось смеяться. Подошла собака и обнюхала мои ноги.

Когда мимо прошел какой-то толстяк, я вздрогнул. Я последовал за ним. Я видел складку на его шее между котелком и воротником пальто. Шел он переваливаясь и громко дыша: у него был вид здоровяка. Я достал револьвер; он был холодным и странно блестел, я чувствовал к нему отвращение; я никак не мог вспомнить, что собирался с ним делать. Глаза мои смотрели то на него, то на затылок толстяка. Складка на его шее мне улыбалась, словно губы, горькой улыбкой. Мысленно я спрашивал себя, а не выбросить ли револьвер в помойку.

Неожиданно толстяк повернулся и посмотрел на меня с раздражением. Я отступил на шаг:

— Я только... спросить...

Он, казалось, не слышал, он смотрел на мои руки. Я с трудом закончил:

— Не скажете, где здесь улица Жете?

Лицо у него вытянулось, губы задрожали. Он ничего не сказал, только протянул вперед руку. Я попятился и сказал:

— Я хотел...

Я почувствовал, что сейчас закричу. Я не хотел этого; я выпустил три пули ему в живот. Он упал с идиотским видом на колени, откинув голову на левое плечо.

— Негодяй,— сказал я ему,— проклятый негодяй!

Я побежал. Я слышал его кашель. А также крики и топот за собой. Кто-то спросил: «В чем дело, он разбился?», и затем вдруг крик: «Убийца! Убийца!» Он не имел ко мне никакого отношения. Но он казался зловещим, как пожарные сирены в детстве. Зловещим и немного смешным. Я бежал изо всех сил.

Я совершил непростительную ошибку: вместо того чтобы подняться по Одесской улице к бульвару Эдгара Кине, я побежал вниз к бульвару Монпарнас. Когда я осознал это, было уже слишком поздно: я находился в самой гуще уличной толпы, на меня смотрели удивленные лица (я запомнил одно — лицо женщины, сильно нарумяненное, в зеленой шляпке с эгреткой), и я слышал, как сумасшедшие с Одесской улицы кричали за моей спиной: «Убийца!» Рука очутилась на моем плече. Я совсем потерял голову: я не хотел быть задушенным толпой. Я выстрелил еще два раза. Толпа завизжала и расступилась. Я вбежал в какое-то кафе. Посетители вскакивали, когда я пробежал мимо, но не пытались меня задержать. Я пересек зал, забежал в туалет и изнутри запер дверь. В револьвере оставался один патрон.

Прошло несколько мгновений. Я не мог отдышаться, я задыхался. Вокруг стояла необычная тишина, словно люди затаились, сговорившись. Я поднял револьвер к глазам и заглянул в его маленькое отверстие, черное и круглое, — отсюда вылетит пуля, и порох обожжет мне лицо. Я опустил руки и стал ждать. Наконец они осторожно приблизились; судя по шарканью ног по полу, их была целая толпа. Они пошептались немного, затем умолкли. Я все еще задыхался, и мне казалось, что там, за перегородкой, им слышно мое дыхание. Кто-то подошел очень тихо и подергал ручку двери. Наверно, он прижался к стене, чтобы укрыться от моих пуль. Мне захотелось выстрелить, но нет — последняя пуля была моей.

«Чего они ждут? — спрашивал я себя. — Если, навалившись вместе на дверь, они сразу ее выломают, у меня не останется времени убить себя, и они возьмут меня живьем». Но они не спешили, они давали мне время умереть. Подлецы, они трусили.

— Откройте, — послышался голос, — вам не сделают ничего дурного.

Наступила тишина, и тот же голос продолжил:

— Вы отлично знаете, что отсюда вам не убежать.

Я не отвечал, я все время задыхался. Чтобы убедить себя выстрелить, я говорил себе: «Если они меня схватят, то станут избивать меня, сломают зубы и даже могут выбить глаз». Я хотел знать, умер или нет тот толстяк. Возможно, я его только ранил, а остальные пули и вовсе никого не задели... Они что-то готовили, поволокли какой-то тяжелый предмет по полу. Я быстро вложил ствол револьвера себе в рот и с силой прикусил его; но я не смог выстрелить, даже не смог положить палец на спуск. Все поглотила тишина.

Я швырнул револьвер на пол и открыл дверь.



I

Люлю спала голой, потому что любила понежиться под чистыми простынями, а стирка стоила недешево. Анри поначалу возражал: в постель не ложатся в чем мать родила, так не делают, это грязно. Но в конце концов он все же последовал примеру жены, хотя с его стороны это было просто уступкой; в гостях он держался натянуто, словно жердь проглотил (он восхищался швейцарцами, особенно женеvцами, находя их представительными из-за их деревянно-невозмутимого вида),

но проявлял небрежность в мелочах и был, например, не слишком чистоплотным: он довольно редко менял кальсоны, когда Люлю бросала их в грязное белье, она не могла не заметить желтизну в промежности. Самой Люлю грязь была не столь уж ненавистна: ведь она создавала больше интимности, мягких теней на изгибах рук например; и она терпеть не могла англичан с их безличными, непахнущими телами. Но неряшливость мужа наводила на нее ужас, ибо она была потворством собственным слабостям. Вставая утром, с головой, полной всяких видений, он всегда бывал слишком нежен к себе — яркость света, холодная вода, жесткий ворс щетки казались ему грубой несправедливостью.

Люлю лежала на спине, она просунула большой палец левой ноги в дырку на простыне; но это не была дырка, просто шов пополз. Какая досада: надо будет завтра его зашить, хотя она все-таки продолжала растягивать его, чтобы ощутить, как рвутся нитки. Анри еще не спал, но он ей уже не мешал. Он часто повторял Люлю: едва он закрывает глаза, как чувствует себя намертво связанным прочными, невидимыми путами, больше не в состоянии пошевелить даже мизинцем. Словно огромная муха, запутавшаяся в паутине. Люлю нравилось чувствовать рядом с собой это большое покорное тело. «Если бы он мог оставаться таким беспомощным, я бы заботилась о нем, ухаживала, как за ребенком, переворачивала иногда на животик и шлепала по попке, а когда мать пришла бы его проведать, я приоткрыла бы его под каким-нибудь предлогом, приподняв слегка одеяло, и она увидела бы его нагишом. Представляю, как она бы обалдела: лет пятнадцать, наверно, она не видела его в таком виде». Люлю мягко провела рукой по бедру мужа и слегка ущипнула в паху. Анри что-то пробормотал, но не пошевелился.

Совершенно беспомощный. Люлю улыбнулась: слово «беспомощность» всегда вызывало у нее улыбку. Когда она еще любила Анри, а он, бывало, лежал рядом с ней так же неподвижно, ей доставляло удовольствие представлять себе, что его, словно колбасу, опутали нитками маленькие человечки, вроде тех, что она видела в детстве на картинке в книжке о приключениях Гулливера. Она часто звала Анри «Гулливером», и Анри это очень нравилось, потому что это было английское имя, и Люлю при этом казалась образованной, но все же ему было бы приятнее, если бы Люлю произносила его с английским акцентом. «Как мужчины надоедливы; если он хотел образованную, ему следовало бы жениться на Жанне Бедер, груди у которой, как охотничьи рожки, но зато она знает пять языков. В воскресенье в Со, в гостях у его родни, мне было так скучно, что я брала первую попавшуюся книгу; и всегда находился какой-нибудь любопытный, интересующийся, что же я читаю, а его младшая сестра спрашивала: «Вы это понимаете, Люси?..» А все дело в том, что он не считает меня благородной. Швейцарцы — вот благородные, потому что его старшая сестра замужем за швейцарцем, который сделал ей пятерых детей, и к тому же они ему импонируют своими горами... Я не могу иметь ребенка, это врожденный порок, но я, например, никогда не считала, что так уж благородно, когда мы выходим вместе, забегать каждую минуту в писсуар, заставляя меня, поджидая его, разглядывать витрины,— представляю, какой у меня глупый вид,— и появляться снова, подтягивая брюки и сгибая колени, словно древний старик».

Люлю вытащила палец из шва простыни и слегка пошевелила ступнями ради удовольствия чувствовать себя бодрой рядом с этой безвольной и покорной плотью. Она услышала урчание; урчащий живот раздра-

жает, никогда не разберешь, в чем животе урчит. Она закрыла глаза: «Это жидкости булькают в связках мягких трубок, так у всех, у Риретты, у меня (не люблю об этом думать, у меня живот начинает болеть). Он любит меня, но не любит мои кишки; если ему покажут в банке мой аппендицит, то он его не узнает, он постоянно лапает меня, но если ему дадут в руки эту банку, он ничего не почувствует, даже не подумает: «Это ее»; надо, чтобы в человеке любили все — и пищевод, и печень, и кишечник. Возможно, любить все это мы просто не привыкли, а если бы мы могли их видеть, как видим наши руки и плечи, то полюбили бы; морские звезды, наверно, умеют любить лучше нас, ведь, устроившись на берегу солнечным днем, они выворачивают свои желудки, чтобы их проветрить, и каждый может это видеть; интересно, как же мы вытаскивали бы свой желудок, через пупок?» Она закрыла глаза, и голубые круги закружились перед ней, как вчера, на ярмарке. «Я стреляла в них резиновыми стрелами, и при каждом попадании зажигалась буква, а из них складывалось название города, но Анри помешал мне выбить слово «Дижон» из-за своей мании прилипать ко мне сзади; я ненавижу, когда меня трогают сзади, мне хотелось бы вовсе быть без спины, и я терпеть не могу людей, которые проделывают со мной всякие штучки, когда я их не вижу, они могут вытворять, что угодно, а ты не видишь их рук, просто чувствуешь, что они шмыгают вверх-вниз, и не знаешь, куда они денутся через мгновение; эти типы смотрят на тебя во все глаза, а ты их не видишь — Анри это обожает; ему и в голову бы такое не пришло, сам он только и думает, как бы пристроиться сзади меня, и я уверена, он нарочно хватает меня за зад, потому что знает, что я сгораю от стыда за свой зад, а его это возбуждает, но я не хочу о нем думать (она боялась),

я хочу о Риретте». Она думала о Риретте каждый вечер в одно и то же время, в тот момент, когда Анри начинал бормотать и стонать. Но что-то ей мешало, Риретту старался вытеснить другой, на мгновение Люлю даже видела его черные вьющиеся волосы, и она думала, что вот снова-здорово, и она даже вздрагивала, потому что никогда ведь не знаешь, что произойдет; куда ни шло, если привидится лишь лицо, но бывает, что она ночи напролет не может сомкнуть глаз из-за этих грязных воспоминаний, которые одно за другим всплывают на поверхность; ужасно, когда знаешь про мужчину все, особенно про это. «Другое дело — Анри, я могу представить его всего, с головы до ног, и это так трогательно, ведь он такой мягкий, кожа у него почти вся серая, кроме розового живота, он говорит, что это признак породы; когда он сидит, на животе его образуются три складки, но их шесть, а он считает две за одну и не желает признавать остальные». Вспомнив вдруг Риретту, она почувствовала раздражение: «Люлю, вы не знаете, что такое настоящее мужское тело». «Это смешно, конечно, я знаю, что это такое, она хочет сказать — тело твердое, как из камня, мускулистое, но мне это не нравится, такое тело было у Паттерсона, и я чувствовала себя мягкой, словно гусеница, когда он прижимал меня к себе; я вышла за Анри потому, что он был такой мягкий и был похож на священника. Священники в своих сутанах нежные-пренежные, как женщины, и кажется, что они носят чулки. Когда мне было пятнадцать лет, мне хотелось, осторожно подняв подол сутаны, увидеть их мужские колени и кальсоны, мне казалось смешным, что у них есть кое-что между ног; одной рукой я придерживала бы сутану, другую бы подняла по ноге вверх, до того места,— мне не слишком нравятся женщины, мне нравится мужская штука: под сутаной она такая мягкая, словно махровый

цветок. Но на самом деле эту штучку невозможно взять в руки, вот если бы она оставалась спокойной, но она начинает шевелиться, как зверек, твердеть, что меня и пугает; когда она твердая и торчит вверх, это грубо; да, какая же она грязная, эта любовь! Анри я полюбила за то, что его штуковинка никогда не твердела, не поднимала головку, мне было смешно, я целовала ее иногда, я боюсь ее не больше, чем штучки какого-нибудь ребенка; ночью я брала ее маленькое нежное тельце в свою руку; Анри краснел и, вздыхая, отворачивал голову, но штучка недвижна, ведет себя очень послушно в моей руке, я ее крепко не сжимаю, и мы долго лежим так, пока он не засыпает. И тогда я переворачиваюсь на спину и начинаю думать о священниках, о чистых вещах, о женщинах и сперва ласково глажу живот, мой красивый гладкий живот, затем опускаю руку все ниже, ниже, и — наступает наслаждение; это наслаждение доставлять себе умею только я сама».

У него были курчавые волосы, как у негра. И тоска сжала ее за горло. Но она сильно зажмурила веки, и перед ней наконец появилось ухо Риретты, золотисто-розовое ушко, похожее на леденец. Увидеть его Люлю было не столь приятно, как обычно, ибо она сразу, вслед за этим, услышала голос Риретты. Это был резкий и четкий голос, который Люлю не нравился. «Вы *должны* уехать с Пьером, моя маленькая Люлю, это единственная разумная вещь, что вам следует сделать». «Я очень привязана к Риретте, но она слегка раздражает меня, когда бывает такой самоуверенной и приходит в восторг от своих слов. В прошлый раз в «Куполь» Риретта с рассудительным и чуть растерянным видом объявила: «Вы не *можете* оставаться с Анри, потому что не любите его больше, это было бы преступлением». Она не упускает случая сказать

что-нибудь злое про него, и, по-моему, это не слишком любезно с ее стороны, ведь он всегда вел себя с ней безупречно; возможно, я его больше не люблю, но не Риретте говорить мне об этом; у нее всегда все просто и легко: любишь или перестаешь любить, но я не такая простая. Во-первых, я привыкла к дому, а потом я очень его люблю, он ведь мой муж. Мне хотелось бы поколотить ее, и мне всегда хочется больно ее ущипнуть, потому что она такая жирная. «Это было бы преступлением». Она поднимает руку, и я вижу ее подмышку, мне больше нравится, когда у нее обнаженные руки». Подмышка. Она раскрывается, словно рот, и Люлю видит розоватую кожу, чуть морщинистую, покрытую вьющимся пушком, похожим на волосы; Пьер называет ее «пухленькой Минервой», хотя ей это совсем не нравится. Люлю улыбнулась, так как вспомнила о своем младшем брате Роберте, который спросил ее однажды, когда она стояла в комбинации: «Почему у тебя под руками волосы?» — а она ответила: «Это болезнь». Она очень любила одеваться в присутствии брата, потому что он всегда делал забавные замечания; интересно, где он всего этого набрался. Ему нравилось трогать вещи Люлю, он тщательно складывал ее платья; у него такие проворные руки, в будущем он может стать знаменитым модельером. «Прекрасная профессия, а я буду придумывать для него рисунки тканей. Странно, что ребенок мечтает стать женским портным; будь я мальчиком, я, наверное, захотела бы стать путешественником или актером, но уж никак не портным; он всегда был фантазером, не слишком разговорчивым, но очень целеустремленным; я же хотела бы стать сестрой-монахиней и собирать пожертвования в богатых домах. Я чувствую все большую слабость в глазах, вялость в теле, я засыпаю. Мое красивое бледное лицо под чепцом приобрело бы аристократический вид. Я побываю в сотнях темных

прихожих. Но прислуга сразу же включит свет, и я увижу фамильные портреты, бронзовые статуэтки на столиках. И вешалки. Хозяйка выйдет с маленьким блокнотом и пятидесятифранковой банкнотой: «Вот, сестра, возьмите». — «Благодарю, мадам, Господь да благословит вас. До свидания». Но, конечно, я не стала бы настоящей сестрой. Изредка в автобусе я подмигну какому-нибудь типу; сперва он будет ошеломлен, затем пойдет за мной, шепча по пути всякие глупости, а я сдам его полицейскому. Деньги от пожертвований я оставляю себе. Что же я на них куплю? ПРОТИВОЯДИЕ. Чушь. Глаза мои расслабляются, и это мне приятно, кажется, будто их смочили водой, а тело мое охвачено сладкой истомой. Прекрасная зеленая тиара с изумрудами и лазуритами». Тиара крутилась, крутилась и стала ужасной бычьей головой, но Люлю ее не боится, она шепчет: «Секурж. Птицы Кантала. Замри». Длинная красная река тянется через безводные равнины. Люлю думала о своей механической мясорубке, потом о бриолине.

«Это было бы преступлением!» Она вздрогнула и присела на кровати, вглядываясь суровыми глазами в темноту. «Они меня мучают, неужели они не видят этого? Риретта, конечно, делает все с добрыми намерениями, но она, такая рассудительная в отношении других, должна же все-таки понимать, что мне необходимо подумать. Он сказал мне: «Ты придешь!», глядя на меня пылающими глазами. «Ты придешь в мой дом, я хочу всю тебя». Я боюсь его глаз, когда он строит из себя гипнотизера, до боли сжимая мне руку; когда я вижу эти его глаза, то всегда вспоминаю, что у него волосатая грудь. Ты придешь, я хочу всю тебя, как можно такое говорить? Я же не собака.

Когда я села, то улыбнулась ему, сменила для него пудру и подвела глаза, потому что так ему нравится, но он ничего не заметил, он не смотрит на мое лицо,

а пялится на мои груди; мне хотелось, чтобы они усохли ему назло, хотя груди у меня не такие уж большие, совсем маленькие. «Ты будешь жить на моей вилле в Ницце». Он сказал, что она белая, с мраморной лестницей и выходит на море и что целый день мы будем ходить совершенно голыми; наверно, ужасно смешно голой подниматься по лестнице; я заставлю его идти впереди, чтобы он не смотрел на меня, иначе я ногой не смогу пошевелиться, буду стоять как вкопанная и всей душой желать, чтобы он ослеп; впрочем, ничего почти для меня не изменится: когда он рядом, мне кажется, будто я раздета. Он взял меня за руку и со злым выражением лица сказал: «Ты хочешь меня!», и мне стало страшно, и я ответила: «Да». — «Я хочу сделать тебя счастливой, мы будем путешествовать на автомобиле, на корабле, мы поедem в Италию, и я дам тебе все, чего ты пожелаешь». На его вилле почти нет мебели; мы будем спать на матрасе на полу. Он хочет, чтобы я спала в его объятиях и чувствовала его запах; мне понравилась бы его грудь, потому что она смуглая и широкая, хотя и волосатая; я хотела бы, чтоб у мужчин не было волос, а у него они черные и мягкие, словно мох, иногда я их глажу, порой же они меня пугают, и я стараюсь отодвинуться от него как можно дальше, но он прижимает меня к себе. Он захочет, чтобы я засыпала в его объятиях, будет крепко сжимать меня в своих руках, а я чувствовать его запах; когда стемнеет, мы услышим шум моря, но он способен разбудить меня среди ночи, если ему вдруг приспичит,— я больше никогда не смогу спать спокойно, разве что во время месячных, потому что тогда он все-таки будет оставлять меня в покое, а ведь, говорят, есть мужчины, что проделывают это с женщинами, у которых недомогания, а после этого у них на животе остается кровь, чужая кровь, и она на простынях, повсюду, о,

какая мерзость, и почему так устроено, что у нас есть тела?»

Люлю открывает глаза; занавески стали красными от света, который проникает с улицы, зеркало отсвечивает красным; Люлю нравится этот красный свет и силуэт кресла, вырисовывающийся на фоне окна. На ручках кресла Анри разложил свои брюки, и подтяжки висят в пустоте. «Надо мне купить ему резинки для подтяжек. Ох! я не могу, не хочу уходить. Он целый день будет меня целовать, и я буду *его*, буду приносить ему радость, он будет смотреть на меня; он думает: «Это моя радость, я могу трогать ее и тут и там где только ни захочу и могу повторить все сначала когда только ни захочу». Как в Пор-Ройяле». Люлю забила ногами по одеялу, она ненавидела Пьера, когда вспоминала о том, что случилось в Пор-Ройяле. Она зашла за изгородь; она думала, что он сидит в авто и изучает карту, и вдруг она его увидела, он крался за ней неслышно, как кошка, он смотрел на нее. Люлю толкнула ногой Анри; этот хоть сейчас проснется. Но Анри тяжело вздохнул, но не проснулся. «Я бы хотела познакомиться с красивым юношей, чистым, как девушка; мы бы не прикасались друг к другу, гуляли бы по берегу моря, держась за руки, а ночью ложились бы в отдельные кровати, как брат и сестра, и говорили бы до утра. А еще лучше, если бы мы жили с Риреттой, это так очаровательно, когда женщины без мужчин; плечи у нее полные и гладкие; как я была несчастна, когда она полюбила Френеля, и меня волновала мысль, что он ласкает ее, медленно водя рукой по плечам и бокам, а она тяжело дышит. Я старалась представить, какое у нее лицо, когда она лежит вот так, совсем нагая, под мужчиной и ощущает руки, которые шарят по ее телу. Я ни за что на свете не дотронулась бы до нее, я не знала бы, что с ней делать, даже пожелай она этого, даже скажи мне: «Я хочу», я не су-

мела бы, но если б я была невидимкой, я хотела бы быть рядом, когда с ней делают это, и видеть ее лицо (я удивилась бы, если она выглядела бы как Минерва), и ладонью легко ласкать ее раздвинутые розовые колени, слышать ее стоны». Люлю с пересохшим горлом издала короткий смешок — и такое иногда лезет в голову. Однажды она представила, что Пьер хотел изнасиловать Риретту. «А я ему помогла, обняв ее. А вчера. У нее горели щеки, мы сидели с ней на диване, прижавшись друг к другу, ноги ее были плотно сдвинуты, мы молчали, мы никогда не скажем об этом». Анри снова захрапел, и Люлю свистнула. «Я лежу рядом, не могу уснуть, чуть с ума не схожу, а этот болван дрыхнет — и хоть бы хны. Если бы он обнял меня, умолял, если бы говорил: «Ты для меня все, Люлю, я люблю тебя, не уходи!», я пошла бы на эту жертву, осталась бы, да, осталась с ним на всю жизнь, лишь бы сделать ему приятное».

II

Риретта села на террасе кафе «Дом» и заказала портвейн. Она чувствовала себя усталой и была сердита на Люлю:

«...Их портвейн отдает пробкой, Люлю все посмеивается надо мной, потому что предпочитает кофе, но нельзя же пить кофе в час аперитива; тут целыми днями пьют кофе или же кофе со сливками, ведь у них нет ни гроша за душой, что, должно быть, очень их злит, а я бы не вынесла, разнесла бы всю их лавочку прямо на глазах у клиентов, они не те люди, с которыми стоит слишком церемониться. Не понимаю, почему она всегда назначает мне свидания на Монпарнасе, в конце концов, ей было бы ничуть не дальше ехать, если б мы встречались в «Кафе де ля Пе» или в «Пам-Пам»,

и мне не приходилось бы таскаться с работы в такую даль; слов не нахожу, как меня раздражает видеть все время эти рожи, хотя, как у меня выпадает минутка, я прихожу сюда; здесь, на террасе, еще куда ни шло, но внутри... там пахнет грязным бельем, а я презираю неудачников. Даже на террасе я чувствую себя не в своей тарелке, потому что у меня слишком приличный вид, что должно удивлять прохожих, которые видят меня среди этих небритых мужчин и женщин, выглядящих черт знает как. Они, наверно, думают: «А эта-то чего здесь торчит?» Конечно, я отлично знаю, что летом сюда частенько заглядывают богатые американцы, но, кажется, все они сейчас в Англии, благодаря нашему дорогому правительству, потому и идет так плохо торговля предметами роскоши, ведь я не смогла продать и половины того, что продала в это время в прошлом году, и могу представить, как идут дела у остальных, если я еще лучшая продавщица, как мадам Дюбек сказала, мне жалко крошку Ионель, она совсем не умеет торговать, и, наверно, она не заработала ни гроша сверх зарплаты; когда весь день на ногах, хочется немного отдохнуть в каком-нибудь уютном местечке, где было бы немного шика, немного искусства и хорошо вышколенный персонал; чтобы можно закрыть глаза и забыть обо всем, и чтобы играла тихая музыка, и не так уж дорого ходить время от времени на танцы в «Амбассадер»; а здесь официанты такие нахальные, сразу видно, что они имеют дело со всяким сбродом, кроме маленького брюнета, который меня обслуживает, этот очень мил; Люлю, наверно, нравится видеть себя в окружении всех этих мужчин, а пойти в более шикарное место она бы побоялась, она робеет перед мужчиной с хорошими манерами, поэтому ей не нравился Луи; а тут, по-моему, она чувствует себя непринужденно, ведь здесь бывают такие, кто не носит даже воротнич-

ков, все эти бедняки курят трубки и пожирают вас глазами, даже не пытаюсь скрыть это, сразу видно, что им не на что взять женщину, а уж этого-то добра здесь, в квартале, хватает, до омерзения; они готовы сожрать вас взглядом, но даже не способны сказать вам вежливо, чего они хотят, повернуть дело так, чтобы сделать вам приятное».

Подошел официант:

— Вам только портвейн, мадемуазель?

— Да, пожалуйста.

Он добавил любезно:

— Чудесная погода!

— Пора уже,— сказала Риретта.

— Ну да, а ведь казалось, что зима никогда не кончится.

Он ушел, и Риретта проводила его взглядом. «Мне нравится этот парень,— думала она,— он знает свое место, не фамильярен, у него всегда найдется доброе слово для меня, небольшой, но особенный знак внимания».

Молодой мужчина, худой и сутулый, нагло смотрел на нее; Риретта повела плечами и повернулась к нему спиной. «Если хочешь строить глазки женщинам, надо хотя бы иметь чистое белье. Я так и скажу ему, если он попробует со мной заговорить. Интересно, почему она от него не уходит. Она не хочет огорчать Анри, по-моему, это слишком красиво: женщина не имеет права калечить свою жизнь ради какого-то импотента». Риретта физически не выносила импотентов. «Она должна уйти, решила она, на карту поставлено ее счастье, я прямо скажу ей, что нельзя играть своим счастьем: «Люлю, вы не имеете права играть своим счастьем». И вовсе ничего я ей не скажу, хватит, сотни раз я твердила ей об этом, человека нельзя сделать счастливым, если он сам этого не хочет». Риретта ощущала в голове ужасную пустоту, потому что она сильно

устала, смотрела на портвейн в бокале, похожий на расплавленную карамель, и какой-то голос в душе повторял ей: «Счастье, счастье», и это было прекрасное, трогательное и серьезное слово, и она подумала, что, если бы спросили ее мнение на конкурсе газеты «Пари-Суар», она бы сказала, что это самое красивое слово во французском языке. «Интересно, думал ли кто-нибудь об этом? Они называли «энергия, мужество», но это потому, что они мужчины, надо было бы, чтоб в конкурсе участвовала и женщина, только женщины могут угадать это слово, и следовало бы учредить две премии, одну для мужчин, и самым красивым словом считать бы Честь, другую для женщин, ее выиграла бы я, назвав слово Счастье; Честь и Счастье ведь рифмуются, это забавно. «Я ей скажу: «Люлю, вы не имеете права упускать свое счастье. Ваша счастье, Люлю, Счастье». Мне, например, Пьер очень нравится, во-первых, настоящий мужчина, и к тому же умница, что делу не мешает, у него есть деньги, и он будет о ней заботиться. Он из тех мужчин, кто умеет сглаживать маленькие неудобства жизни, это так приятно женщине; мне страшно нравится, когда мужчина умеет себя поставить, это мелочь, но он умеет разговаривать с официантами, с метрдотелями; они его слушаются, и я называю это «иметь характер». Наверно, именно этого как раз больше всего недостает Анри. И надо же не забывать о здоровье, с таким папашей, какой у нее был, она должна бы строже следить за собой, конечно, это прелестно — быть худенькой и изящной, не знать ни голода, ни сна, спать по четыре часа в сутки и носиться целыми днями по Парижу, пристраивая эти свои эскизы тканей, но это же безумие, ей необходимо соблюдать правильный режим, есть понемногу, кстати, что и мне бы не помешало, но часто и в определенные часы. Будет поздно, когда ее упекут лет на десять в какой-нибудь санаторий».

Она с недоумением посмотрела на часы на углу бульвара Монпарнас, стрелки которых показывали двадцать минут двенадцатого. «Не понимаю я Люлю, странный у нее характер, я никогда не могла понять, любит она мужчин или они ей противны; но уж Пьером она должна быть довольна, он хотя бы заставит ее забыть о ее прошлогоднем мужике, ее Рабю, которого я называла Ребю *». Воспоминание это ее развеселило, но она сдержала улыбку, так как худой молодой мужчина, не отрываясь, смотрел на нее; она повернула голову, перехватила его взгляд. У Рабю все лицо было усеяно маленькими черными точками, и Люлю доставляло удовольствие удалять их, сдавливая кожу ногтями. «Это омерзительно, но в этом не ее вина, Люлю понятия не имеет, что такое шикарный мужчина, а я обожаю изысканных мужчин прежде всего, они так хороши, добротные вещи мужчин, их рубашки, туфли, роскошные цветастые галстуки, мужчины грубы, если хотите, но зато так приятна их сила, их нежная сила, это как запах их английских сигарет, одеколона, их лица, когда оно гладко выбрито, это не... это не женская кожа, мужская кожа похожа на сафьян, а их сильные руки охватывают вас, вы опускаете голову им на грудь, чувствуете нежный, резкий запах ухоженного мужчины, они нашептывают что-то ласковое; на них хорошие вещи, красивые жесткие туфли из телячьей кожи, они шепчут вам: «Дорогая, милая моя девочка», и вы чувствуете, что сдаетесь,— Риретта вспомнила Луи, который бросил ее в прошлом году, и сердце у нее сжалось: он был мужчина, который знал себе цену и имел массу маленьких причуд — перстень с печаткой, золотой портсигар, свои мелкие мании...— правда, эти мужчины

* Здесь непереводаемая игра слов: Rabut (Рабю) — фамилия, Rebut (ребю) — подонок.— *Здесь и далее примеч. переводчика.*

бывают такими занудными, иногда хуже женщин. Самое лучшее было бы завести мужчину лет сорока, который бы еще следил за собой, с волосами, зачесанными назад и уже седеющими на висках, подтянутого, широкоплечего, очень спортивного, но знающего жизнь и доброго, потому что он много страдал. Люлю настоящий ребенок, ей повезло еще, что у нее такая подруга, как я, ведь Пьеру все это начинает надоедать, другие на моем месте непременно бы этим воспользовались, ну а я все время советую ему потерпеть, и, когда он бывает слишком нежен со мной, я делаю вид, что ничего не замечаю, завожу разговор о Люлю и всегда нахожу слова, чтобы подчеркнуть ее достоинства, но она не заслуживает своего счастья, она просто его не ценит, я желаю ей пожить немного одной, как я живу после ухода Луи, она бы узнала, каково возвращаться вечером одной, отработав целый день, и находить пустую квартиру, умирая от желания положить голову к кому-нибудь на плечо. Спрашиваешь себя, где находятся силы, чтобы заставить себя подняться на следующее утро, и опять идти на работу, и быть оболстительной и веселой, и заражать мужеством окружающих, тогда как тебе самой хотелось бы лучше умереть, чем продолжать эту жизнь».

Часы пробили половину двенадцатого. Риретта думала о счастье, о синей птице, о птице счастья, о вольной, как птица, любви. Она вздрогнула: «Люлю опаздывает на полчаса, это нормально. Она никогда не бросит мужа, на это у нее воли не хватит. Собственно, она живет с Анри только из приличия: она его обманывает, но пока к ней обращаются «мадам», она думает, что это в порядке вещей. Она рассказывает про него ужасные вещи, но не дай Бог повторить ей все это наутро, она лопнет от возмущения. Я сделала для нее все, что могла, высказала ей все, что хотела ей сказать, тем хуже для нее».

Такси остановилось перед кафе «Дом», и из него вылезла Люлю. Она тащила большой чемодан, и выражение лица у нее было каким-то торжественным.

— Я ушла от Анри,— издали закричала она.

Она подошла, сгибаясь под тяжестью чемодана. Она улыбалась.

— Неужели, Люлю? — спросила с изумлением Риретта.— Не хотите ли вы сказать?..

— Да, все решено,— ответила Люлю,— я его бросила.

Риретта все еще не верила:

— Он знает? Вы ему сказали?

Глаза у Люлю помрачнели.

— Еще как сказала! — воскликнула она.

— Вот и хорошо, моя маленькая Люлю!

Риретта не знала, что и думать, но предположила, что в таких обстоятельствах Люлю, по-видимому, необходима поддержка.

— Это отлично,— сказала она,— вы просто молодчина.

Ей хотелось прибавить: вот видите, как все легко, но она сдержалась. Люлю вызывала восхищение: щеки ее покраснелись, глаза горели. Она села и поставила рядом чемодан. Она была в сером шерстяном пальто с кожаным поясом и светло-желтой водолазке. Она была с непокрытой головой. Риретте не нравилось, когда Люлю выходила на улицу без шляпки; она тотчас поняла, что Люлю охвачена странным смешанным чувством стыда и радости. Люлю всегда вызывала у Риретты такое чувство. «Больше всего в ней мне нравится ее жизнелюбие»,— подумала Риретта.

— Все было сделано в два счета,— сказала Люлю.— Я высказала ему все, что у меня накипело на душе. Он стоял, как чокнутый.

— Я в себя прийти не могу,— сказала Риретта.— Но что это на вас нашло, Люлю, крошка моя? Вчера

вечером я бы голову отдала на отсечение, что вы от него не уйдете.

— Это из-за моего братика. Со мной пусть он строит из себя кого угодно, но я не могу терпеть, чтобы он обижал моих родных.

— Но как же все произошло?

— Где же официант? — спросила Люлю, крутясь на стуле. — Официантов в «Дом» никогда не дозовешься. Нас обслуживает вон тот маленький брюнет?

— Да, — подтвердила Риретта. — А знаете ли вы, что я ему нравлюсь?

— Вот как! Отлично, но остерегайтесь смотрительницы в туалете, он все время торчит у нее. Он ухаживает за ней, но, по-моему, это лишь предлог, чтобы наблюдать за дамами, которые заходят в кабинки; когда они выходят, он смотрит им прямо в глаза, чтобы вогнать их в краску. Кстати, я вас покину на минутку, мне надо пойти позвонить Пьеру, представляю, как он удивится! Если увидите официанта, закажите мне кофе со сливками; я скоро вернусь и все вам расскажу.

Она встала, прошла несколько шагов и вновь вернулась к Риретте.

— Я ужасно счастлива, Риретта, дорогая моя.

— Милая Люлю, — растрогалась Риретта, беря ее за руки.

Высвободившись, Люлю легкой походкой пересекла террасу.

Риретта смотрела на ее удаляющуюся фигурку. «Я ни за что не подумала бы, что она на это способна. Как она радуется, — думала слегка шокированная Риретта, — что ей удалось бросить мужа. Если бы она слушалась меня, все случилось бы гораздо раньше. Но как бы там ни было, все это благодаря мне, в сущности, я сильно влияю на нее».

Через несколько минут Люлю вернулась.

— Пьер проглотил язык от удивления,— сказала она.— Он хотел узнать подробности, но я совсем скоро все ему расскажу, я ведь обедаю с ним. Он сказал, что мы, может быть, сможем уехать завтра вечером.

— Как я за вас рада, Люлю,— сказала Риретта.— Ну, рассказывайте скорее. Вы все решили этой ночью?

— Знаете, я ничего не решала,— скромно возразила Люлю,— все получилось само собой.— Она нервно постучала по столику.— Гарсон, гарсон! Этот официант совсем меня замучил, я хочу кофе со сливками.

Риретта была шокирована: на месте Люлю и в столь серьезных обстоятельствах ей было бы не до кофе со сливками. Люлю, конечно, очень мила, но удивительно, что порой она легкомысленна, как птичка.

— Если бы вы видели рожу Анри! — фыркнула от смеха Люлю.

— Меня беспокоит, что скажет ваша мать,— серьезно сказала Риретта.

— Моя мать? Она будет сча-стли-ва,— с уверенным видом сказала Люлю.— Он был груб с ней, знаете, она им сыта по горло. Всегда упрекал ее за то, что я дурно воспитана, что я такая и сякая, и сразу видно, что воспитание у меня плебейское. Знаете, отчасти я ушла от него и из-за мамы.

— Но что же случилось?

— Что? Он дал пощечину Роберу.

— Значит, Робер был у вас?

— Да, проходил мимо и зашел утром, мама хочет отдать его в ученики Гемпезу. Кажется, я вам об этом говорила. Короче, он пришел, когда мы завтракали, и Анри дал ему пощечину.

— За что? — спросила Риретта с легким раздражением. Она терпеть не могла манеру Люлю бессвязно рассказывать истории.

— Они о чем-то поспорили,— сказала Люлю неопределенно,— а малыш ему не уступил. Он его не испугался. «Старый дурак»,— бросил он ему прямо в лицо. Потому что Анри, естественно, назвал его грубияном, он только и твердит об этом; я со смеху помирала. Тут Анри встал, мы завтракали в студии, и дал Роберу пощечину, за это я бы убила Анри своими руками!

— И вы ушли?

— Ушла,— удивилась Люлю,— куда?

— Я думала, что именно в этот момент вы и ушли. Послушайте, милая моя Люлю, расскажите мне все по порядку, а то я ничего не понимаю. Скажите,— прибавила она, что-то заподозрив,— вы в самом деле ушли от него?

— Ну да, я целый час толкую вам об этом.

— Ладно. Итак, Анри ударил Робера. А дальше?

— Дальше,— сказала Люлю,— я заперла его на балконе, это было очень смешно! Он был еще в пижаме, стучал по стеклу, но боялся разбить его, потому что скупой, как вошь. Я бы на его месте все перебила, даже если б и порезалась до крови. Затем притащились Тексье. И тогда он стал улыбаться мне через дверь, стараясь все выдать за шутку.

Прошел официант; Люлю схватила его за руку:

— Гарсон, ну куда вы пропали? Не затруднит ли вас подать мне кофе со сливками?

Риретта чувствовала себя неловко и заговорщицки, едва заметно улыбнулась официанту, но тот остался серьезно-мрачным и услужливо поклонился, исполненный укоризны. Риретта немного злилась на Люлю: та никогда не умела взять с подчиненными нужный тон, то вела себя слишком фамильярно, то держалась чересчур требовательно и сухо.

Люлю засмеялась.

— Мне смешно, потому что вспомнила Анри в пижаме на балконе, он дрожал от холода. Знаете, как я его там заперла? Он стоял в глубине комнаты, Робер плакал, а он читал ему нотации. Я вышла на балкон и крикнула: «Смотри-ка, Анри, такси сбило цветочницу». Он подошел и стал рядом со мной: он обожает цветочницу, потому что она швейцарка, и еще ему кажется, что она влюблена в него. «Где? где?» — спрашивал он. Я тихонечко отодвинулась, вошла в комнату и закрыла дверь. И крикнула ему через стекло: «Будешь знать, как издеваться над моим братом». Больше часа я продержала его на балконе, он смотрел на нас вытаращенными глазами, посинев от злости. Я показывала ему язык и кормила Робера конфетами; потом принесла в студию свои вещи и стала одеваться прямо перед Робером, потому что знала, что Анри этого не выносит: Робер целовал мне руки и шею, как настоящий маленький мужчина, просто прелесть; мы вели себя так, будто Анри вообще нет на свете. Из-за этого я даже умыться забыла.

— А Анри торчал за стеклом. Просто умора,— громко рассмеялась Риретта.

Люлю перестала смеяться.

— Боюсь, как бы он не простудился,— серьезно сказала она,— когда человек в ярости, ему все нипочем.— И, снова повеселев, продолжала: — Он нам грозил кулаками и все время что-то говорил, но я не разобрала и половины. Потом Робер ушел, и тут же позвонили Тексье; я их впустила. Когда Анри увидел их, он расплылся в улыбке, раскланивался с ними на балконе, а я им сказала: «Взгляните на моего мужа, сокровище мое, правда, он похож на рыбку в аквариуме?» Тексье поздоровались с ним через стекло, они были слегка озадачены, но они умеют себя держать.

— Я словно вижу все это, — рассмеялась Риретта. — Ха-ха! Ваш муж на балконе, а Тексье — в студии! — Она повторяла несколько раз: «Ваш муж на балконе, а Тексье — в студии...» Ей хотелось найти смешные и выразительные слова, чтобы описать сцену Люлю, она считала, что у Люлю нет чувства юмора. Но слова не нашлись.

— Я открыла балконную дверь, — сказала Люлю, — и вошел Анри. Он поцеловал меня перед Тексье и назвал маленькой плутовкой. «Маленькая плутовка, — повторил он, — надумала подшутить надо мной». Я улыбалась, Тексье расплылись в вежливой улыбке, все улыбались. Но когда Тексье ушли, он меня ударил кулаком по уху. Тогда я схватила щетку и огрела его по лицу: разбила ему губы.

— Бедняжка Люлю, — ласково сказала Риретта.

Но Люлю жестом отвергла всякое сочувствие. Она держалась прямо, с воинственным видом тряска каштановыми кудряшками, глаза ее метали молнии.

— И вот тут мы и объяснились: я вытерла ему губы салфеткой и сказала, что он мне надоел, что я его больше не люблю и ухожу. Он расплакался и сказал, что покончит с собой. Но на меня это уже не действует: вы помните, Риретта, в прошлом году эти его басни о Рейнской области, он каждый день пел все ту же песенку, что, мол, скоро начнется война. Люлю, меня мобилизуют, и я погибну на фронте, ты будешь жалеть обо мне, тебя замучает совесть за все те горести, что ты мне причинила. «Успокойся, — ответила я, — ты импотент и тебя не призовут». Потом я успокоила его, потому что он сказал, будто запрет меня на ключ в студии, и поклялась ему, что уйду не раньше, чем через месяц. После этого он ушел к себе в кабинет, у него были красные глаза и пластырь на губе — хорош красавчик. Ну а я немного прибралась, поставила

разогреть чечевицу на плиту и собрала чемодан. И на кухонном столике оставила ему записку.

— Что же вы ему написали?

— Я написала так,— гордо сказала Люлю,— «Чечевица стоит на плите. Поешь и выключи газ. В холодильнике ветчина. С меня довольно, я ухожу. Прощай!»

Они рассмеялись так громко, что на них оглядывались прохожие. Риретта подумала, что они, должно быть, представляли очаровательное зрелище, и пожалела, что они не сидят на террасе кафе «Вьель» или «Кафе де ля Пе». Перестав смеяться, они замолчали, и Риретта вдруг поняла, что им больше нечего сказать друг другу. Она была немного разочарована.

— Мне надо бежать,— сказала Люлю, вставая,— в двенадцать у меня встреча с Пьером. Что же мне делать с чемоданом?

— Оставьте его мне,— предложила Риретта,— я отдам его на хранение смотрительнице туалета. И когда я вас снова увижу?

— Я зайду к вам в два часа, мне нужно сделать с вами кучу покупок: я не взяла и половины своих вещей, надо, чтобы Пьер дал мне денег.

Люлю ушла, а Риретта подозвала официанта. Она чувствовала какую-то тяжесть и грусть за обеих. Официант подбежал, Риретта давно уже заметила, что он всегда спешил подойти, когда она звала его.

— С вас пять франков,— сказал он. И немного сухо добавил: — Вам было так весело вдвоем, ваш смех был слышен внизу.

Люлю его обидела, с досадой подумала Риретта. И сказала, покраснев:

— Моя подруга сегодня с утра слегка нервничает.

— Она очаровательна,— с чувством возразил официант.— Благодарю вас, мадемуазель.

Он опустил в карман шесть франков и удалился. Риретта несколько удивилась, но пробило полдень, и она подумала о том, как Анри возвращается домой и находит записку Люлю, и на мгновение ее охватил прилив нежности.

— Я хотела бы, чтобы вы принесли *все это завтра днем* в отель «Театральный», улица Вандам,— сказала Люлю кассирше с видом важной дамы. Она повернулась к подруге:

— Вот и все, Риретта, никаких хлопот.

— На чье имя? — спросила кассирша.

— Мадам Люсьена Криспен.

Люлю перекинула пальто через руку и помчалась вниз; она сбежала по главной лестнице универмага «Самаритен». Риретта, стараясь не отстать, несколько раз чуть не упала, так как не смотрела под ноги,— она не отрывала глаз от танцующей перед ней голубой и канареечно-желтой тоненькой фигурки. «У нее и вправду непристойное тело...» Всякий раз, когда Риретта смотрела на Люлю со спины или в профиль, она поражалась непристойности ее форм, но никак не могла уяснить себе почему; такое создавалось впечатление. «Люлю, гибкая и тонкая, но есть в ней что-то неприличное, хотя я не понимаю что. Наверное, потому, что она всегда старается носить вещи в обтяжку. Она говорит, что стыдится своего зада, и носит юбки, которые вызывающе облегают ягодицы. Зад у нее маленький, это верно, меньше, гораздо меньше, чем у меня, но он больше бросается в глаза. Он круглый под тонкой талией, но хорошо наполняет юбку, можно подумать, что его нарочно в нее вложили; и потом, он такой вертлявый».

Люлю обернулась, и они улыбнулись друг другу. Риретта думала о нескромном теле своей подруги с

каким-то смешанным чувством осуждения и нежности: эти маленькие торчащие груди, гладкая, немного смуглая кожа — если коснуться ее, наверняка покажется, что она резиновая, — эти узкие бедра, высокое дерзкое тело с тонкими конечностями. «Тело негритянки, — думала Риретта, — она похожа на негритянку, танцующую румбу». Зеркало возле входной двери отразило ее пышные формы. «Я более спортивная, — подумала Риретта, беря Люлю под руку, — она выглядит более эффектно, когда мы в вечерних платьях, но в обнаженном виде я наверняка буду смотреться лучше».

Они с минуту молчали, затем Люлю сказала:

— Пьер был так мил. И вы тоже очень милы, Риретта, я очень благодарна вам обоим.

Она выговорила это с принужденным видом, но Риретта не обратила никакого внимания: Люлю никогда не умела благодарить, она была слишком застенчивой.

— Мне все это надоело, — сказала вдруг Люлю, — хотя мне и необходимо купить бюстгальтер.

— Здесь? — спросила Риретта. Они как раз проходили мимо бельевого магазина.

— Нет. Но я вспомнила об этом, когда его увидела. За бюстгальтерами я пойду к Фишеру.

— На бульвар Монпарнас?! — воскликнула Риретта. — Будьте осторожны, Люлю, — посоветовала она серьезно, — вам не стоит часто бывать на бульваре Монпарнас, особенно в это время. Мы можем встретить Анри, что было бы ужасно неприятно.

— Анри? — спросила Люлю, пожав плечами. — Да нет, почему же?

Негодование красной краской залило щеки и лоб Риретты.

— Вы не меняетесь, милая моя Люлю, если вам что-то не по душе, вы это отрицаете — просто и ясно.

Вы хотите пойти к Фишеру и уверяете меня, что Анри по бульвару Монпарнас не ходит. Вы отлично знаете, что он всегда проходит там в шесть часов, это его путь. Ведь вы сами мне говорили: он поднимается по улице Ренн и ждет автобуса на углу бульвара Раскай.

— Во-первых, сейчас только пять,— возразила Люлю,— а во-вторых, он, наверно, не пошел на службу: после того, что я ему написала, он должен был лечь спать.

— Но, Люлю,— сказала вдруг Риретта,— есть другой Фишер, как вам известно, рядом с Опера, на улице дю Катр-Септамбр.

— Да,— согласилась Люлю как-то вяло,— но туда идти надо.

— Ах! Вы мне нравитесь, моя крошка! Надо идти! Да ведь это в двух шагах, гораздо ближе, чем Монпарнас.

— Мне не нравится их товар.

Риретта с насмешкой подумала, что во всех магазинах Фишера продается одно и то же. Но у Люлю бывали приступы непонятого упрямства; Анри явно был именно тем человеком, с кем ей меньше всего хотелось бы сейчас встретиться, но, казалось, она нарочно стремилась попасться ему под ноги.

— Ну что ж,— снисходительно сказала она,— пойдемте на Монпарнас, впрочем, Анри такой высокий, что мы заметим его раньше, чем он нас.

— Ну и что из того, если он нам встретится? — спросила Люлю.— Встретимся, и все тут. Он нас не съест.

Люлю настояла, чтобы идти до Монпарнаса пешком, сказала, что ей нужно подышать свежим воздухом. Они прошли по улице де Сень, затем по улице Одеон и улице де Вожирар. Риретта расхваливала Пьера и доказывала Люлю, как безупречно он вел себя в этом деле.

— Как я люблю Париж, как я буду скучать по нему!

— Молчите, Люлю. Когда я думаю, что вам выпало счастье поехать в Ниццу, я не понимаю сожалений о Париже.

Люлю не ответила; она оглядывалась по сторонам с каким-то печальным и чего-то ищущим видом.

Выходя от Фишера, они услышали, что пробило шесть часов. Риретта взяла Люлю за локоть и хотела поскорее увести ее отсюда. Но Люлю остановилась возле цветочного магазина Баумана.

— Взгляните на эти азалии, моя милая Риретта. Будь у меня красивая гостиная, я бы всю ее заставила ими.

— Я не очень люблю цветы в горшках,— заметила Риретта.

Она была в отчаянии. Повернув голову в сторону улицы Ренн, она, естественно, через мгновение увидела перед собой высокую, нелепую фигуру Анри. Он был без шляпы, в спортивном твидовом пиджаке каштанового цвета. Риретта ненавидела этот цвет.

— Вот он, Люлю, собственной персоной,— быстро прошептала она.

— Где? Где? — спрашивала Люлю.

Она была взволнована не меньше Риретты.

— Позади нас, на той стороне. Бежим, и не оборачивайтесь.

И все же Люлю оглянулась.

— Я его вижу,— сказала она.

Риретта попробовала увлечь ее за собой, но Люлю словно окаменела и, не отрываясь, смотрела на Анри. Наконец она прошептала:

— По-моему, он нас заметил.

Она выглядела испуганной и, как-то сразу подчинившись Риретте, послушно позволила увести себя.

— Только ради Бога, Люлю, не оглядывайтесь больше,— сказала Риретта, слегка задыхаясь.— Мы свернем в ближайшую улицу направо, в улицу Делаамбр.

Они шли очень быстро, то и дело толкая прохожих. Временами Риретте приходилось тащить за собой Люлю, но иногда та сама тянула вперед Риретту. Не успев еще дойти до угла улицы Делаамбр, Риретта вдруг заметила позади Люлю большую коричневую тень; она поняла, что это Анри, и задрожала от гнева. Люлю шла с опущенными глазами, вид у нее был отрешенный и упрямый. «Теперь она жалеет о своей неосторожности, но слишком поздно — и тем хуже для нее».

Они ускорили шаг: Анри молча шел за ними. Они прошли улицу Делаамбр и продолжали идти в сторону Обсерватории. Риретта слышала скрип туфель Анри; слышно было также что-то вроде хрипа, легкого и размеренного, сопровождавшего их шаги,— это было дыхание Анри (Анри всегда дышал шумно, но никогда не дышал так громко; наверно, он бежал, чтобы нагнать их, или сильно разволновался).

«Надо сделать вид, будто его здесь нет,— подумала Риретта.— Притвориться, будто мы его не замечаем». Но она не могла сдержаться и украдкой наблюдала за ним. Он был белым, как полотно, а веки его были опущены так низко, что глаза казались почти закрытыми. «Он похож на лунатика»,— не без страха подумала Риретта. Губы у Анри тряслись, и маленький, наполовину отклеившийся кусочек розового пластыря на нижней губе дрожал тоже. И еще дыхание, размеренные хриплые вздохи, которые заканчивались теперь тонким гнусавым присвистом. Риретте стало не по себе; Анри она не боялась, но болезнь и страсть всегда ее чуть пугали. Наконец Анри медленно, не глядя, вытянул руку и схватил Люлю за руку. Скривив рот, словно собираясь заплакать, та высвободилась, вся дрожа.

— Пфуух! — выдохнул Анри.

У Риретты появилось безумное желание остановиться: в боку у нее колело, в ушах гудело. Но Люлю почти бежала; у нее тоже был вид лунатика. Риретте показалось, что если она отпустит руку Люлю и остановится, то эти двое будут продолжать бежать рядом, закрыв глаза, немые, бледные как мертвецы.

— Пошли домой,— сказал Анри странным хриплым голосом.

Люлю не ответила. Анри повторил тем же монотонным, хриплым голосом.

— Ты моя жена. Пошли домой.

— Вы же видите, что она не хочет возвращаться,— процедила Риретта сквозь зубы.— Оставьте ее в покое.

Он, казалось, ее не слышал и повторял:

— Я твой муж, я требую, чтобы ты пошла со мной.

— Я прошу вас оставить ее в покое,— резким тоном потребовала Риретта пронзительно,— вы ничего не добьетесь, если будете приставать к ней, проваливайте отсюда.

Он повернул к Риретте удивленное лицо.

— Это моя жена,— сказал он,— она принадлежит мне. Я хочу, чтобы она пошла домой.

Он взял Люлю за руку, но на этот раз она не отдернула руки.

— Уходите! — воскликнула Риретта.

— Я никуда не уйду, я пойду за ней повсюду, я хочу, чтобы она вернулась домой.

Он говорил с трудом. Но вдруг, состроив гримасу и обнажив зубы, он закричал изо всех сил:

— Ты принадлежишь мне!

Люди со смехом оборачивались. Анри тряс Люлю за руку и рычал как зверь, оскалив зубы. На счастье, мимо проезжало свободное такси. Риретта махнула рукой, и такси остановилось. Анри тоже остановился.

Люлю хотела идти дальше, но они оба крепко держали ее за руки.

— Вы должны понять,— объясняла Риретта, таща Люлю к шоссе,— что не вернете ее этим насилием.

— Оставьте ее, оставьте мою жену,— кричал Анри и тянул ее к себе. Люлю обмякла, словно мешок с бельем.

— Вы садитесь или нет? — нетерпеливо крикнул водитель.

Отпустив Люлю, Риретта обрушила град ударов по рукам Анри. Но он, казалось, их не чувствовал. Однако отпустил руку Люлю и уставился на Риретту тупым взглядом. Риретта тоже смотрела на него. Она никак не могла собраться с мыслями, ее охватывало чувство необыкновенного отвращения. Несколько секунд они стояли так, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Затем Риретта пришла в себя, обхватила Люлю за талию и потащила ее к такси.

— Куда ехать? — спросил водитель.

Анри пошел следом, хотел сесть с ними. Но Риретта со всей силой оттолкнула его и быстро захлопнула дверь.

— Прошу вас, поезжайте скорее,— попросила она водителя.— Адрес мы скажем потом.

Такси тронулось, и Риретта, расслабившись, откинулась на заднее сиденье. «Как все было пошло»,— подумала она. Она ненавидела Люлю.

— Куда вы хотите поехать, милая Люлю? — нежно спросила она.

Люлю молчала. Риретта обняла ее и ласково говорила:

— Вы должны сказать мне. Хотите, я отвезу вас к Пьеру?

Люлю сделала движение, которое Риретта приняла за согласие. Она наклонилась вперед:

— Улица де Мессин, одиннадцать.

Когда Риретта опять повернулась к Люлю, та как-то странно на нее смотрела.

— Что-нибудь...— начала было Риретта.

— Я ненавижу вас,— закричала Люлю,— ненавижу Пьера, ненавижу Анри. Что вы ко мне привязались? Вы меня замучили.

Она вдруг замолчала, и лицо ее исказилось.

— Поплачьте,— со спокойным достоинством сказала Риретта,— поплачьте, и вам станет легче.

Люлю, согнувшись пополам, зарыдала. Риретта обвила ее руками и прижала к себе. Время от времени она поглаживала ее волосы. Но в душе она чувствовала лишь холод и презрение. Когда такси отановилось, Люлю уже успокоилась. Она вытерла глаза и напудрилась.

— Извините меня,— ласково попросила она,— это все нервы. Мне было невыносимо видеть его в таком состоянии, к тому же он сделал мне больно.

— Он был похож на орангутанга,— сказала успокоившаяся Риретта.

Люлю улыбнулась.

— Когда я вас снова увижу? — спросила Риретта.

— О, я думаю, что завтра. Вы знаете, Пьер не может взять меня к себе из-за своей матери. Я сейчас в отеле «Театральный». Приходите рано утром, часов в десять, если сможете, потому что затем я должна пойти к маме.

Она была мертвенно-бледной, и Риретта с грустью подумала о том, что Люлю так легко может сломаться.

— Постарайтесь вечером как следует отдохнуть,— попросила она.

— Я страшно устала,— сказала Люлю,— я надеюсь, что Пьер не задержит меня, хотя он никогда не понимает таких вещей.

Оставшись в такси, Риретта поехала к себе домой. На мгновение она подумала, не пойти ли ей в кино, но

настроение было не то. Она бросила шляпку на стул и шагнула к окну. Но кровать влекла ее к себе, такая белая, мягкая и свежая в своей непостижимой таинственности. Броситься в нее и почувствовать ласковое прикосновение подушки к пылающим щекам. «Я сильная, я все сделала для Люлю, а сейчас я совсем одна, и никто мне не поможет». Ей стало себя так жалко, что она ощутила, как рыдания подступают к горлу. «Они уедут в Ниццу, и я их больше не увижу. Я устроила их счастье, но они и не вспомнят обо мне. А я останусь здесь, буду работать по восемь часов в день, продавая фальшивый жемчуг у Бурма». Когда первые слезы скатились по ее щекам, она мягко опустилась на свою кровать. «В Ниццу, в Ниццу,— повторяла она, горько плача,— к солнцу, на Ривьеру...»

III

«Брр!»

Ночь темная-претемная. Кажется, что по комнате ходит кто-то — мужчина в тапочках. Он осторожно ставит одну ногу, затем другую, но пол все равно слегка поскрипывает. Он останавливается, на мгновение наступает тишина, затем, перебравшись неожиданно в другой конец комнаты, он снова, как маньяк, продолжает бесцельно слоняться по комнате. Люлю было холодно, одеяла слишком легкие. Она громко сказала: «Брр!», и ее напугал звук собственного голоса.

«Брр! Я уверена, что сейчас он смотрит на звездное небо, закуривает сигарету, он на улице, он сказал, что ему нравится сиреневый оттенок парижского неба. Он медленно, не спеша идет домой: он чувствует себя поэтом,— он сам мне сказал, когда добился этого,— и легким, словно только что подоенная корова; он и думать забыл об этом, а я лежу, вся испачканная.

И меня не удивляет, что он такой чистый в эту минуту, всю свою грязь он оставил здесь, в ночи, излив ее в полотенце, а простынь в середине постели мокрая, я не могу вытянуть ноги, потому что почувствую эту липкую жидкость, эту гадость, но сам-то он совершенно сухой, я слышала, как он, выйдя от меня, насвистывал что-то под моим окном; он там внизу, сухой и свежий, в красивой одежде, в демисезонном пальто — надо признать, что одеться он умеет, женщине не стыдно показаться с ним на людях,— и вот он там, под моим окном, а я лежу голая, в темноте, мне холодно, и я растираю руками живот, потому что мне кажется, будто я еще вся мокрая. «Я поднимусь на минутку,— сказал он,— взгляну на твою комнату». Он пробыл у меня два часа, и кровать скрипела, эта паршивая узкая железная кровать. Интересно, как он отыскал этот отель; он рассказывал мне, что когда-то прожил в нем две недели, что мне здесь будет очень хорошо; но здесь какие-то странные номера, я побывала в двух, никогда я не видела таких крохотных комнатушек, забитых мебелью, пуфами и диванчиками, маленькими столиками, от всего этого так и разит любовью,— и не знаю, две ли недели провел он здесь, но, наверняка, был он не один; наверно, он совсем меня не уважает, если запихнул меня сюда. Гарсон отеля сильно улыбался, когда мы стали подниматься, это алжирец, а я ненавижу этих типов, боюсь их; он смотрел на мои ноги, потом вернулся в конторку; он, должно быть, сказал про себя: «Готово дело, сейчас они позабавятся» — и стал представлять себе всякие грязные штучки; говорят, что у себя они вытворяют с женщинами что-то чудовищное; если какая-нибудь попадет к ним в лапы, то на всю жизнь останется калеккой; и пока Пьер мучил меня, я думала об этом алжирце, который представлял себе, чем я сейчас занимаюсь, и воображал себе такую

мерзость, что хуже и не придумаешь. Нет, в комнате определено кто-то есть!»

Люлю задержала дыхание, и поскрипывание тут же прекратилось. «У меня болит между ног, все зудит и жжет, мне хочется плакать, и так будет каждую ночь, кроме завтрашней, потому что завтра мы будем в поезде». Люлю прикусила губу и содрогнулась, вспомнив, что она стонала. «Неправда, я не стонала, а лишь слегка задыхалась, ведь он такой тяжелый и, когда лежит на мне, мне трудно дышать. Он сказал мне: «Ты стонешь, ты кончаешь», а мне жутко, когда говорят во время этого, мне хотелось бы, чтобы мы впали в забытие, но он без умолку болтает всякие гадости. Я не стонала, во-первых, а во-вторых, я могу получить удовольствие, это факт, так врач сказал, лишь тогда, когда сама себе его доставляю. Он не хочет этому верить, они никогда не хотят в это верить, все они говорили: «Это потому, что тебя плохо научили в первый раз, я-то научу тебя любить»; я не возражала, я знала, в чем дело: это у меня от природы, но их это лишь раздражает.

Кто-то поднимается по лестнице. Возвращается, наверно, откуда-то. Боже мой, пусть он вернется. Ведь он вполне на это способен, если его снова охватит желание. Нет, это не он, шаги тяжелые, а что, если — сердце в груди у Люлю бешено заколотилось — это алжирец, он ведь знает, что я одна, постучит в дверь — не могу, я с ума сойду, — нет, это этажом ниже, какой-то тип вернулся к себе, пытается попасть ключом в замочную скважину, ему на это нужно время, он пьян. Интересно, кто живет в этом отеле, наверно, всякий сброд; вчера днем на лестнице мне попала какая-то рыжая девка с глазами наркоманки. Нет, я не стонала! Но естественно, что он возбудил меня своими грубыми ласками, он в этом деле мастак; я страшно боюсь мужчин, которые все умеют, я бы предпочла

спать с девственником. Эти руки, которые сразу хватают вас, где надо, гладят вас, тискают, но не слишком... они принимают вас за какой-то инструмент, гордясь тем, что умеют на нем играть. Не выношу, когда они выводят меня из себя, в горле у меня пересыхает, мне страшно, во рту появляется какой-то привкус, я чувствую себя униженной, потому что они полагают, что подавляют меня; мне хочется дать Пьеру пощечину, когда он напускает на себя фатовской вид и заявляет: «Я владею техникой». Боже мой, представить только, что это и есть жизнь; и ради этого мы наряжаемся и моемся, наводим красоту, и все романы написаны об этом, и все только и думают об этом, а кончается все тем, что заходишь в комнату с каким-нибудь типом, который сначала чуть ли не душит тебя, а в конце концов мочит тебе весь живот. Я хочу спать, о, если бы я могла хоть немного поспать, завтра мне придется ехать всю ночь, я буду совершенно разбита. Я хотела бы быть хоть немного выспавшейся, чтобы бродить по Ницце; говорят, там чудесно, узенькие итальянские улочки, пестрое белье сушится на солнце; я поставлю свой мольберт и стану писать, а маленькие девочки будут подходить ко мне, чтобы взглянуть, что я тут рисую. Какая гадость! (Она чуть пошевелилась и бедром коснулась влажной простыни.) Ради этого он и привел меня сюда. Никто, никто меня не любит. Он шел рядом, а я едва не падала от слабости, ожидая хоть одного ласкового слова; скажи он: «Я люблю тебя», я конечно же не вернулась бы к нему, но сказала бы ему что-нибудь нежное, и мы расстались бы добрыми друзьями; я все ждала, ждала этого, он взял мою руку, и я не отняла ее. Риретта была в бешенстве, но не правда, что у Анри был вид орангутанга, хотя я догадывалась, что она думала что-то в этом роде; она украдкой смотрела на него своими противными глазами; поразительно, что она может быть такой

злой; и все же, несмотря ни на что, он взял мою руку, я не сопротивлялась, но хотел он не меня, хотел свою жену, потому что он женат на мне и мой муж; он всегда меня унижал, говорил, что умнее меня, и во всем, что случилось, его вина, ведь, если б он не обращался со мной свысока, я бы осталась с ним. Уверена, что в эту минуту он не жалеет обо мне, не плачет, он храпит, вот и все его дела, он очень доволен, потому что теперь один в постели и может вытянуть свои длинные ноги. Как я хотела бы умереть. Я так боюсь, что он подумает обо мне плохо; я не могла ничего ему объяснить, ведь нас разделяла Риретта, она говорила без умолку, словно истеричка какая-то. Теперь она довольна и хвалит себя за свое мужество, за то, что так хитро обошлась с Анри, который кроток, как агнец. Я пойду к нему. Не могут же они заставить меня бросить его, как собаку». Она вскочила с кровати и повернула выключатель. Достаточно чулок и комбинации. Она даже не причесалась, так торопилась. «И люди, что встретят меня на улице, не узнают, что я совсем голая под серым пальто, которое мне почти до пяток. Алжирца — она с бьющимся сердцем остановилась — надо разбудить, чтобы он открыл дверь». Она спустилась по лестнице крадущимися шагами — но все ступени скрипели, — постучала в окно консьержной.

— В чем дело? — сказал алжирец. Глаза у него были красные, волосы взъерошены; выглядел он вовсе не страшно.

— Откройте мне дверь, — сухо попросила Люлю. Через четверть часа она уже звонила в квартиру Анри.

— Кто там? — спросил Анри через дверь.

— Это я.

«Он не отвечает, не хочет пускать меня к себе в дом. Но я буду барабанить в дверь до тех пор, пока он

не откроет, он уступит из-за соседей». Через минуту дверь приоткрылась и показался Анри, бледный, с прыщом на носу; он был в пижаме. «Он не спал», — с нежностью подумала Люлю.

— Я не хотела уходить так, мне нужно было снова увидеть тебя.

Анри все молчал. Люлю вошла, слегка оттолкнув его. «Какой он неуклюжий, вечно торчит перед тобой, смотрит на меня своими круглыми глазами, руки беспомощно болтаются, он не знает, что делать со своим телом. Молчи, молчи, ведь я же вижу, как ты взволнован и не в силах говорить». Он пытался проглотить слюну, и поэтому Люлю самой пришлось закрывать дверь.

— Я хочу, чтоб мы расстались добрыми друзьями, — сказала она.

Он раскрыл рот, как будто намереваясь что-то сказать, но, стремительно повернувшись, убежал. Что с ним? Она не решилась пойти за ним. Может, он плачет? Тут она услышала его кашель: он был в туалете. Когда он вернулся, она обняла его за шею и припала к его губам: от него пахло рвотой. Люлю разрыдалась.

— Я простудился, — объяснил Анри.

— Давай ляжем, — плача, предложила она, — я могу остаться до утра.

Они легли. Люлю сотрясалась в отчаянных рыданиях, ведь она вновь обрела свою комнату, свою чудесную чистую постель и красный отсвет в зеркале. Она ждала, что Анри обнимет ее, но он не шевелился: лежал, вытянувшись пластом, словно кто-то положил в постель бревно. «Он сейчас выглядит так, будто говорит с каким-нибудь швейцарцем». Она обхватила его голову руками и внимательно вглядывалась в его лицо. «Ты чист, да, ты чистый». Он захныкал.

— Как я несчастен,— всхлипывал он,— никогда я не был таким несчастным.

— Я тоже,— согласилась Люлю.

Они долго плакали. Наконец она успокоилась, потушила свет и положила голову ему на плечо. Если бы они могли лежать так всегда, чистые и печальные, как сироты; но это невозможно, так в жизни не бывает. Жизнь — это огромная волна, которая накатывалась на Люлю, вырывая ее из объятий Анри. «Твои руки, твои большие руки. Он гордится тем, что они такие большие, говорит, что у потомков древних родов всегда большие конечности. Он уже не будет обхватывать меня за талию своими ладонями — мне бывало слегка щекотно, но всегда приятно, потому что он мог почти смыкать пальцы. Неправда, что он импотент, он просто чистый, чистый — и чуть-чуть лентяй». Она улыбнулась сквозь слезы и поцеловала его пониже подбородка.

— Что я скажу родителям? — спросил Анри.— Моя мать с ума сойдет.

«Госпожа Криспен с ума не сойдет, наоборот, будет в восторге. Они станут говорить обо мне за обедом, все пятеро, говорить с осуждающим видом, как люди, которые уже давно знали об этом, но не желали этого касаться из-за присутствия младшей сестры — ей всего шестнадцать, она еще слишком молода, чтобы обсуждать при ней некоторые темы. Госпожа Криспен будет смеяться в душе, потому что она знала все заранее, ей всегда все известно и она ненавидит меня. О, какая грязь! И внешне все против меня».

— Не говори им сразу,— умоляла она,— скажи, что я поехала в Ниццу поправить здоровье.

— Они мне не поверят.

Она осыпала лицо Анри частыми, быстрыми поцелуями.

— Анри, ты был не слишком ласков со мной.

— Верно,— сказал Анри,— я уделял тебе мало внимания. Но и ты,— заметил он, подумав,— не была особенно ласкова со мной.

— И я тоже. У, какие мы несчастные!

Она заплакала, да так горько, что едва не задохнулась; скоро рассветет, и она уйдет. «Никогда, никогда мы не можем сделать то, чего хотим, нас все время куда-то заносит».

— Ты не должна была так уходить,— сказал Анри. Люлю вздохнула.

— Я очень тебя любила, Анри.

— А теперь не любишь?

— Не в этом дело.

— С кем ты уезжаешь?

— С людьми, которых ты не знаешь.

— А откуда ты знаешь людей, которых не знаю я?! — яростно спросил Анри.— Где ты с ними встречалась?

— Не надо об этом, мой любимый, мой маленький Гулливер, не строй из себя супруга в такую минуту.

— Ты едешь с мужчиной! — в слезах воскликнул Анри.

— Послушай, Анри, клянусь тебе, что нет, клянусь жизнью моей матери, что мужчины мне сейчас отвратительны. Я еду с одной четой, пожилыми людьми, друзьями Риретты. Я хочу жить одна, они найдут мне работу; о, Анри, если б ты только знал, как мне необходимо побыть одной, как мне все это опротивело.

— Что? Что именно тебе опротивело? — спросил Анри.

— Все! — поцеловала она его.— И все, кроме тебя, мой милый.

Она просунула руки ему под пижаму и долго ласка-

ла его тело. Он дрожал от прикосновения этих ледяных рук, но не сопротивлялся, он лишь сказал:

— Я совсем разболеюсь.

В нем определенно что-то надломилось.

В семь часов Люлю встала с опухшими от слез глазами и сказала устало:

— Мне пора возвращаться туда.

— Куда?

— Я живу в отеле «Театральный», на улице Вандам. Гнусный отель.

— Оставайся у меня.

— Нет, Анри, умоляю тебя, не настаивай, я тебе уже сказала, что это невозможно.

«Это поток, который тебя уносит, это жизнь; ты не можешь ни осуждать, ни понимать, остается лишь дать себя увлечь. Завтра я буду в Ницце». Она зашла в туалет, чтобы теплой водой промыть глаза. Надела пальто, вся дрожа. «Это словно рок. Лишь бы я смогла поспать в поезде этой ночью, иначе в Ниццу я приеду совсем без сил. Надеюсь, он взял билеты в первый класс; ведь я впервые поеду первым классом. В жизни всегда так: годами я мечтала поехать в путешествие первым классом, и вот, когда, наконец, мне представилась эта возможность, все складывается таким образом, что меня это ничуть не радует». Теперь она торопилась уйти, потому что эти последние мгновения были совершенно невыносимы.

— Что ты хочешь сделать Голуа? — спросила она.

Голуа заказал Анри рекламный плакат, тот сделал его, а Голуа теперь от него отказывался.

— Не знаю, — ответил Анри.

Он съежился комочком под одеялом, видны были лишь его волосы и краешек уха. Он медленным, слабым голосом пробормотал:

— Я бы проспал целую неделю.

— Прощай, любимый,— сказала Люлю.

— Прощай.

Она наклонилась к нему и, слегка приподняв одеяло, поцеловала в лоб. Потом она долго стояла на лестничной площадке, не решаясь закрыть за собой дверь. Наконец она отвела глаза и сильно дернула за ручку. Послышался сухой щелчок, и ей показалось, что сейчас она потеряет сознание; похожее чувство она пережила, когда услышала, как первые комья земли застучали о крышку отцовского гроба.

«Анри не слишком любезен. Он мог бы встать и проводить меня. Наверно, мне было бы не так тоскливо, если бы он закрыл за мной дверь».

IV

«Она сделала это! — думала Риретта, глядя вдаль, — сделала!»

Был вечер. Около шести часов Риретте позвонил Пьер, и она пришла на встречу с ним в кафе «Дом».

— Но разве вы не должны были встретиться с ней сегодня в восемь утра? — спросил Пьер.

— Я виделась с ней.

— Она выглядела неважно?

— Да нет,— ответила Риретта,— я ничего не заметила. Она была несколько уставшей, но сказала, что плохо спала после вашего ухода, так как ее возбудила мысль, что она увидит Ниццу, и потому, что она испугалась портье-алжирца... Знаете, она даже спросила меня, уверена ли я, что вы взяли билеты в первый класс, даже сказала, что поездка первым классом была мечтой ее жизни. Да,— решила Риретта,— я уверена, что у нее и в мыслях не было ничего подобного, во всяком

случае, пока я была у нее. Я пробыла с ней два часа, а у меня острый глаз на такие вещи, я бы удивилась, если б от меня что-то ускользнуло. Вы скажете, что она очень скрытная, но я знаю ее уже четыре года и видела ее в разных обстоятельствах, я знаю мою Люлю как свои пять пальцев.

— Значит, это Тексье ее отговорили. Забавно...— Он задумался на мгновенье и неожиданно сказал: — Интересно, кто им дал адрес Люлю. Я сам выбрал отель, о котором она раньше никогда не слышала.

Он рассеянно вертел в руках письмо Люлю, и Риретту это раздражало, потому что ей очень хотелось его прочитать, а Пьер никак не давал ей письмо.

— Когда вы его получили? — наконец спросила она.

— Письмо?..— И он отдал его ей.— Возьмите, вы можете его прочесть. Должно быть, она оставила его у консьержки примерно в час.

Это был тоненький розоватый листок бумаги, которую продают в табачных лавках.

«Любимый!

Пришли Тексье (не знаю, кто дал им адрес), и я сильно тебя огорчу, но я не еду, мой любимый Пьер; я остаюсь с Анри, потому что он очень несчастен. Сегодня утром они зашли к нему, он не хотел открывать, и госпожа Тексье сказала, что он потерял человеческий облик. Они были очень добры и поняли меня, она сказала, что во всем виноват Анри, этот увалень, хотя в сущности он совсем неплохой. Она говорит, что с ним надо было так поступить, чтобы он понял, как сильно он ко мне привязан. Не знаю, кто дал им мой адрес, они мне этого не сказали, наверно, они случайно увидели меня, когда я утром выходила с Риреттой из отеля. Госпожа Тексье сказала мне, что прекрасно понимает, что требует от меня огромной

жертвы, но она знает меня довольно хорошо и уверена, что меня это не испугает. Мне очень жаль нашего чудесного путешествия в Ниццу, любовь моя, но я подумала, что ты будешь не так несчастен, поскольку я навеки принадлежу тебе. Я твоя всей душой и всем телом, и мы будем видеться так же часто, как и раньше. Но Анри убьет себя, если потеряет меня, я нужна ему; уверяю тебя, что мне не очень-то весело чувствовать на себе такую ответственность. Надеюсь, ты не будешь строить свою злую гримасу, которая так меня пугает, и не хочешь, чтобы меня мучила совесть, ведь правда? Сейчас я возвращаюсь к Анри, и мне немного не по себе, как я представляю, что увижу его в таком состоянии, но у меня хватит твердости продиктовать ему мои условия. Во-первых, я хочу больше свободы, потому что люблю тебя, и хочу, чтобы он оставил в покое Робера, не говорил плохо о маме. Любимый, мне очень грустно, как мне хотелось бы, чтобы ты был сейчас со мной, я хочу тебя, я прижимаюсь к тебе и чувствую твои ласки на моем теле. Буду завтра в пять часов в «Дом». Люлю».

— Мой бедный Пьер! — взяла его за руку Риретта.

— Уверяю вас, — начал Пьер, — мне самому очень ее жаль. Ей необходимы свежий воздух и солнце. Но раз уж она так решила... Моя мать устраивала бы мне жуткие сцены, — продолжал он. — Вилла принадлежит ей, а она слышать не хочет о том, чтобы я привез туда женщину.

— Неужели? — прерывающимся голосом спросила Риретта. — Неужели? Значит, все прекрасно и все довольно!

Она отпустила руку Пьера: почему-то ее охватило чувство горького сожаления.



ДЕТСТВО ХОЗЯИНА

«Я очарователен в моем костюмчике ангела». Госпожа Портье сказала маме: «Ваш малыш просто милочка. Он очарователен в своем костюмчике ангела». Господин Буфардье поставил Люсьена меж своих колен и погладил его ручки. «Вылитая девочка,—улыбаясь, сказал он.— Как тебя зовут? Жаклин, Люсьена, Марго?» Люсьен покраснел и ответил: «Меня зовут Люсьен». Он уже сомневался в том, что он не девочка: многие взрослые целовали его, называя «мадемуазель», и все находили, что он просто прелесть, со своими крылышками из газа, в длин-

ном голубом платице, с голыми ручонками и золотистыми кудряшками; он боялся, как бы люди не решили вдруг, что он больше не мальчик; и напрасно бы он возражал, никто его не стал бы слушать, ему разрешили бы снимать платице только перед сном, а проснувшись утром, он находил бы его возле своей кровати, и днем, если бы захотел пипи, ему пришлось бы задирать его, как Ненетте, и присаживаться на корточки. Все называли бы его «милой крошкой»; «может быть, это уже случилось и я действительно девочка»; он чувствовал себя в душе таким изнеженным, что ему самому было чуть-чуть противно, он говорил каким-то тоненьким голоском и протягивал всем цветы мягкими плавными жестами; ему очень хотелось поцеловать себе изгиб локтя. Он думал: все это понарошку. Ему нравилось, когда все было понарошку, поэтому в последний день Карнавала он сильно расшалился: его нарядили в костюм Пьеро, он бегал, прыгал и кричал вместе с Рири, и они прятались под столами. Мама легонько шлепнула его лорнетом. «Я горжусь моим мальчиком». Она была величественная и красивая, самая полная и высокая из всех дам. Когда он пробежал мимо длинного буфета, накрытого белой скатертью, папа, который пил здесь шампанское, поднял его в воздух и сказал: «Мужчина!» Люсьену захотелось заплакать и ответить: «Нет!»; он попросил оранжада, потому что тот был холодный, а ему не разрешали его пить. Ему налили на доньшко в маленькую рюмочку. Оранжад отдавал горечью и был совсем не холодный; Люсьен вспомнил о лимонадах с касторкой, которыми его поили, когда он сильно болел. Он разрыдался и утешился лишь в автомобиле, сидя между папой и мамой. Мама прижимала Люсьена к себе, она была теплая и душистая, такая мягкая. Изредка салон авто становился белым, как мел, Люсьен щурил глаза, фиалки у мамы на корсаже выступали из тени, и Люсьен сразу же вдыхал

их аромат. Он похныкал еще немного, но почувствовал, что ему стало потно и щекотно, что он почти такой же липкий, как оранжад; ему захотелось поплескаться в своей маленькой ванночке и чтобы мама потерла его резиновой губкой. Ему позволили лечь в спальне папы и мамы, как бывало, когда он был грудным; он смеялся, скрипя пружинами кровати, а папа сказал: «Ребенок перевозбужден». Он выпил немного апельсиновой воды и увидел папу в жилете.

На следующий день Люсьен был уверен, что он о чем-то забыл. Он отлично помнил сон, который ему приснился: папа и мама были в ангельских платицах, Люсьен совершенно голый сидел на горшочке, он бил в барабан, а папа и мама порхали вокруг него; это был кошмар. Но до этого сна произошло еще что-то, наверное, Люсьен проснулся. Когда он пытался вспоминать, он видел длинный черный туннель, освещенный лишь маленькой голубой лампой, точной копией ночника, который зажигали по вечерам в комнате родителей. В самой глубине этой мрачной и синей ночи что-то виднелось — что-то белое. Он сидел на полу у маминых ног и держал свой барабан. Мама спросила его: «Почему ты так на меня смотришь, мое сокровище?» Он опустил глаза, застучал по барабану и закричал: «Бум, бум, тарарабум». Но когда мама отвернулась, он принялся пристально ее разглядывать, словно видел впервые. Голубое платье с искусственным цветком он узнавал, лицо тоже. Но выглядело все совсем не так. Вдруг ему показалось, что он очень близок к чему-то, и, если подумает еще чуточку, найдет то, что искал. Туннель осветился серым тусклым светом, и стало видно, как что-то шевелится. Люсьен испугался и закричал — туннель исчез. «Что с тобой, мой маленький?» — спросила мама. Она с тревожным видом стояла возле него на коленях. «Я играю», — сказал Люсьен. От мамы хорошо пахло, но он

боялся, что она до него дотронется: она казалась ему странной, и папа тоже. Он решил, что больше никогда не будет спать в их комнате.

В последующие дни мама ничего не заметила. Люсьен как обычно, по-прежнему носил свои юбочки, но болтал с ней как настоящий маленький мужчина. Он попросил ее рассказать «Красную Шапочку», и мама посадила его к себе на колени. Она рассказывала ему про Волка и Бабушку Красной Шапочки, подняв вверх палец, улыбающаяся и серьезная. Люсьен смотрел на нее, спрашивал: «А дальше?» — и изредка трогал завитки волос на ее шее; но он ее не слушал, он задавал себе вопрос, действительно ли она его настоящая мама. Когда она кончила свою сказку, он сказал ей: «Мама, расскажи мне, как ты была маленькой девочкой». И мама рассказала, но, наверное, она обманывала. Может быть, раньше она была мальчиком, и ее наряжали в платьица — как в прошлый раз Люсьена, — и она продолжала носить их, чтобы притворяться девочкой. Он ласково потрогал ее красивые руки, которые под шелком были мягкими, как масло. А что будет, если снять с мамы платье, она наденет папины брюки? Неужели у нее сразу вырастут черные усы? Он изо всех сил сжал мамины руки; ему почудилось, что она прямо у него на глазах превратится в страшного зверя или станет бородатой женщиной, похожей на ту, что он видел на ярмарке. Она засмеялась, широко раскрыв рот; Люсьен увидел ее розовый язык и горло; это было противно, и ему захотелось туда плюнуть. «Ха-ха-ха! — смеялась мама. — Как сильно ты меня обнимаешь, мой мужчинка! Обними меня покрепче. Так же крепко, как ты меня любишь». Люсьен схватил ее красивую в серебряных кольцах руку и покрыл ее поцелуями. Но наутро, когда она сидела рядом с ним, держа его за руки, а он в это время сидел на горшке и она повторяла: «Тужься, Люсьен, тужься, сокровище мое, прошу

тебя», он вдруг перестал тужиться и спросил, слегка задыхаясь: «Это правда, что ты настоящая моя мама?» — «Глупышка», — ответила она и спросила, скоро ли он покакает. С этого дня Люсьен был уверен, что она разыгрывала перед ним комедию, и больше никогда не говорил ей, что женится на ней, когда вырастет. Но он не слишком понимал, что это была за комедия: могло случиться, что в ту ночь с туннелем воры украли из кровати его папу и маму, а положили вместо них этих двоих. Или же это были его настоящие папа и мама, но только днем они играли какую-то роль, а ночью становились совсем другими. Люсьен почти не удивился, когда в рождественскую ночь он вдруг проснулся и увидел, как они прятали игрушки в камин. Утром они говорили о Деде Морозе, а Люсьен сделал вид, будто верит им: он думал, что они играют свои роли и должны были воровать игрушки. В феврале он заболел скарлатиной и очень радовался этому.

Поправившись, он взял в привычку разыгрывать из себя сироту. Он садился на лужайке под каштаном, брал в обе горсти землю и думал: «Я — сирота, меня зовут Луи. Вот уже шесть дней я ничего не ел». Служанка Жермена звала его к завтраку, но и за столом он продолжал свою игру; папа с мамой ничего не замечали. Его подобрала вора, которые хотели сделать из него карманника. Когда он позавтракает, он убежит и выдаст их. Он ел и пил очень мало: он прочел в «*Приюте Святого Ангела*», что голодающий человек должен начинать с легкой пищи. Это было весело, потому что играли все. Папа и мама играли в папу и маму; мама разыгрывала страдания потому, что ее маленькое сокровище ест так мало, папа притворялся, будто читает газету, но изредка помахивал пальцем перед лицом Люсьена, приговаривая: «Бадабум, мужчина!» И Люсьен тоже играл, хотя сам толком не знал в кого. В сироту? Или в то, что он Люсьен?

Он посмотрел на графин. Маленький красный блик прыгал в воде, и можно было поклясться, что в графине находится папина рука, огромная и светящаяся, с маленькими черными волосками на пальцах. Люсьену вдруг представилось, что графин тоже лишь играет в графин. В итоге он почти не притронулся к еде и так проголодался, что в конце дня был вынужден украсть дюжину слив, и чуть было не получил несварение желудка. Он решил, что уже достаточно наигрался в Люсьена.

Однако он никак не мог остановиться, и ему все время казалось, что он играет. Он хотел быть похожим на господина Буфардье, который был таким некрасивым и таким серьезным. Приходя на обед, господин Буфардье склонялся к маминой руке и говорил: «Мое почтение, милостивая государыня», а Люсьен, стоя посреди гостиной, смотрел на него с восхищением. Но все, что происходило с Люсьеном, не было серьезным. Когда он падал и набивал себе шишку, то он переставал порой плакать и спрашивал себя: «Это правда, что мне бобо?» И тогда ему делалось еще печальнее, и он принимался плакать еще горше. Когда же он поцеловал маме руку и сказал: «Мое почтение, милостивая государыня», мама, взъерошив ему волосы, сказала: «Нехорошо, мой мышон, ты не должен смеяться над взрослыми», и он совсем растерялся. Почувствовать свою значительность ему удавалось лишь в первую и третью пятницы месяца. В эти дни в гости к маме приходило множество дам, и среди них двое или трое всегда были в трауре; Люсьену нравились дамы в трауре, особенно те, у кого были большие ноги. Ему вообще было приятно со взрослыми, потому что они были такими солидными, и даже не хотелось думать, что в постели они утешаются тем же, чем занимаются маленькие мальчики; ведь они носили на себе столько темных одеяний, что нельзя было даже вообразить, есть ли на них нижнее белье. Собравшись

вместе, они кушают и беседуют, и даже смех у них какой-то торжественный; это красиво, как месса. Они обращались с Люсьеном как со взрослым. Госпожа Коффен сажала Люсьена на колени и щупала его икры, заявляя: «Я в жизни не видела такого хорошенького ребенка». Потом она интересовалась, что он любит, целовала его и спрашивала, кем он хочет быть. Он либо отвечал, что станет великим полководцем, как Жанна д'Арк, и отберет у немцев Эльзас-Лотарингию, либо говорил, что хочет стать миссионером. И, говоря это, верил в свои слова. Госпожа Бесс была крупной и сильной женщиной с маленькими усиками. Она опрокинула Люсьена на спину и стала щекотать его, приговаривая: «Ах ты, куколка моя». Люсьен был в восторге, весело смеялся и корчился от щекотки; он представлял себе, что он куколка, прелестная куколка для взрослых, и ему хотелось, чтобы госпожа Бесс раздевала его, мыла и укладывала баиньки в маленькую колыбельку резинового пупсика. То и дело госпожа Бесс повторяла: «Неужели моя куколка умеет говорить?» — и при этом слегка нажимала ему на животик. И тогда Люсьен делал вид, что он заводная кукла, и сдавленным голосом произносил: «Квак», и они смеялись.

Господин кюре, который по субботам являлся к ним на завтрак, спросил его, любит ли он маму. Люсьен обожал свою красавицу маму и своего папу, который был таким сильным и добрым. Он ответил: «Да», глядя господину кюре прямо в глаза с таким дерзким видом, что рассмешил всех. У господина кюре голова была похожа на ягоду малины — красная и пупырчатая, с волоском на каждой пупырьчке. Он сказал Люсьену, что это похвально и следует всегда любить маму, а затем спросил, кого он любит больше, маму или Господа Бога. Люсьен не смог быстро найти ответ; он стал трясти своими кудряшками и топтать ногой, крича: «Бум, тарарабум»; взрос-

лые снова продолжали беседу, словно его тут и не было. Он побежал в сад и выскользнул через калитку на улицу, он захватил с собой свою камышовую тросточку. Конечно, Люсьен не должен был выходить из сада, это запрещалось; обычно Люсьен вел себя очень послушно, но сегодня ему расхотелось повиноваться. Он недоверчиво посмотрел на густые заросли крапивы; было ясно, что заходить в это место нельзя: стена была грязной, крапива — колючим и вредным растением; какая-то собака надела прямо под кустами; пахло растительностью, собачьими испражнениями и теплым вином. Люсьен хлестал крапиву своей тросточкой, выкрикивая: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Он видел порубленные стебли крапивы, которые жалобно свисали, истекая белым соком; беловатые, пушистые цветы крапивы рассыпались, изрубленные на кусочки, а он слышал тоненький голосочек, кричащий: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Громко жужжа, кружила большая синяя муха — навозная муха, которую Люсьен боялся, и запретный запах, сильный, гнилой и густой, проникал ему в нос. Он повторил: «Я люблю мою маму», но свой голос показался ему чужим, ему вдруг стало очень страшно, он бросился бежать и, не оглядываясь, примчался в гостиную. В тот день Люсьен понял, что не любит маму. Вины за собой он не чувствовал, но стал относиться к ней с удвоенным вниманием, решив, что всю жизнь следует выказывать любовь к родителям, иначе ты будешь попросту гадким мальчишкой. Госпожа Флерье находила, что Люсьен становится все более ласковым. Этим летом как раз началась война, папа отправился сражаться, а опечаленной маме было приятно чувствовать, что Люсьен так пылко о ней заботится; после полудня, когда она отдыхала в саду в шезлонге — она очень страдала, — он приносил подушку и подкладывал ей под голову или укрывал ей ноги пледом, она, смеясь, отбивалась: «Но

мне будет слишком жарко, мой маленький мужчина! О, как ты любезен!» Он страстно целовал ее и повторял, задыхаясь: «Мама моя!», потом садился под каштаном.

Он сказал «каштан» и ждал. Но ничего не произошло. Мама лежала в шезлонге у веранды, такая маленькая на дне этой тяжелой, удушливой тишины. Пахло теплой травой, и можно было поиграть в следопыта в джунглях; но Люсьен уже утратил вкус к игре. Воздух дрожал над красным гребнем стены, а солнце заливало обжигающими пятнами землю и руки Люсьена. «Каштан!» Это было поразительно: когда Люсьен говорил маме: «Моя красивая мама», она улыбалась, когда он называл Жермену «ружьем», та плакала и шла жаловаться маме. Но когда он произносил слово «каштан», ничего не происходило. Он процедил сквозь зубы: «Мерзкое дерево, противный каштан! Я тебе покажу, подожди только!» — и бил его ногой. Но дерево стояло спокойно-спокойно, словно было деревянное. Вечером за ужином Люсьен сказал маме: «Ты знаешь, мама, деревья ведь деревянные» — и состроил при этом удивленную мину, которая так маме нравилась. Но госпожа Флерье не получила письма с дневной почтой. Она сухо заметила: «Не говори глупостей». Люсьен превратился в маленького разрушителя. Он переломал все свои игрушки, чтобы выяснить, как они устроены, старой папиной бритвой изрезал ручки одного из кресел, разбил танагрскую статуэтку в гостиной, чтобы узнать, полая ли она, или у нее внутри что-то есть; на прогулках он сбивал своей тросточкой растения и цветы; всякий раз он переживал глубокое разочарование: вещи были глупые, они не жили по-настоящему. Мама часто спрашивала его, показывая на цветок или дерево: «Как оно называется?» Но, качая головой, Люсьен отвечал: «Никак не называется, у них нет имен». На все это не стоило труда обращать внимания. Куда забавнее было отрывать лапки у кузнечика,

потому что тот вертится при этом волчком под вашими пальцами, а когда ему сжимали живот, оттуда вылезал какой-то желтый крем. Но кузнечики все-таки молчали. Люсьену же очень хотелось помучить одного из тех животных, которые кричат, если им делают больно, курицу например, но даже подойти к ним он боялся. Господин Флерье возвратился домой в марте, потому что он был директором, и генерал сказал ему, что он будет больше полезен во главе своей фабрики, чем простой солдат в окопах. Он сказал, что Люсьен сильно изменился, и заметил, что он не узнает своего маленького мужчину. Люсьен погрузился в какую-то сонливость; на вопросы отвечал вяло и постоянно ковырял пальцем в носу, а то, подышав на руку, принимался ее обнюхивать; и все время его приходилось упрашивать сходить по нужде. Теперь он уже самостоятельно ходил в одно место; он лишь оставлял дверь полуоткрытой, и время от времени мама или Жермена заходили его подбодрить. Он часами сидел на толчке и однажды так утомился, что даже уснул. Врач сказал, что он очень быстро растет, и прописал укрепляющее. Мама хотела научить Люсьена новым играм, но Люсьен счел, что наигрался досыта, что все игры в конце концов одинаковы — одни и те же. Он часто дулся — это тоже было игрой, но более забавной. Можно было огорчать маму, казаться печальным и злым, корчить из себя глухого, не раскрывая рта и смотря затуманенными глазами; а в себе он чувствовал тепло и нежность, как будто он лежит вечером, укрывшись одеялом с головой, и вдыхает свой собственный запах; он был один на всем свете. Люсьен уже не мог обходиться без своих капризов, и, когда папа насмешливым тоном говорил: «Опять дуешься», Люсьен, рыдая, начинал кататься по полу. Он довольно часто заходил в гостиную, когда мама принимала гостей, но, с тех пор как ему обрезали его локоны,

взрослые меньше им интересовались или же читали ему мораль, рассказывая назидательные истории. Когда в Фероль, спасаясь от бомбардировок, приехал его кузен Рири вместе с тетей Бертой, своей красивой мамой, Люсьен очень обрадовался и попытался научить его играть. Но Рири был слишком поглощен своей ненавистью к бошам и вообще был еще ребенком, хотя и был на шесть месяцев старше Люсьена; лицо его усеивали веснушки, и он был туповат. И однако именно ему Люсьен признался, что он лунатик. Отдельные люди встают ночью, разговаривают и ходят спящими. Люсьен прочел это в *«Юном путешественнике»* и стал думать, что должен быть настоящий Люсьен, который по-настоящему ходит, разговаривает и любит своих родителей по ночам, но, едва наступает утро, он все забывает и вновь притворяется Люсьеном. Сперва Люсьен и сам этому не верил, но однажды они подошли вдвоем к крапиве, и Рири, показав Люсьену свою пиписку, сказал: «Смотри, какая большая, я большой мальчик. Когда она станет совсем большой, я стану мужчиной и пойду в траншеи воевать с бошами». Рири показался Люсьену смешным, и он громко рассмеялся. «Покажи твою», — сказал Рири. Они сравнили, и у Люсьена она оказалась меньше, но Рири схитрил: он тянул свою, чтобы ее удлинить. «У меня больше», — сказал Рири. «Да, но зато я лунатик», — ответил Люсьен спокойно. Рири не знал, что такое лунатик, и Люсьену пришлось ему объяснить. Когда он закончил, он подумал: «Значит, правда, что я лунатик», и его охватило страшное желание заплакать. Так как они спали в одной кровати, они уговорились, что в эту ночь Рири не заснет и будет хорошенько наблюдать за Люсьеном, когда тот встанет, и запоминать все, что тот скажет. «Ты разбудишь меня через несколько минут», — сказал Люсьен, — чтобы проверить, вспомню ли все, что делал». Вечером Люсьен, который не мог заснуть, услышал вдруг

громкое сопенье, и ему пришлось разбудить Рири. «Занзибар!» — сказал Рири. «Проснись, Рири, ты должен следить за мной, когда я встану». — «Дай мне поспать», — сонным голосом попросил Рири. Люсьен стал его трясти и щипать под рубашкой. Рири задрогал ногами, проснулся и лежал с открытыми глазами и глупой улыбкой. Люсьен вспомнил о велосипеде, который обещал купить ему папа, услышал свисток паровоза, а затем вдруг вошла служанка и отдернула занавески — было восемь часов утра. Люсьен так никогда и не узнал, что же он делал ночью. Только Господь знал это, потому что Господь все видит. Люсьен стал на колени на молитвенную скамеечку и попытался заставить себя быть умницей, чтобы по приходе с мессы мама похвалила его, но он ненавидел Господа: Господь знал о Люсьене больше, чем сам Люсьен. Он знал, что Люсьен не любит ни маму, ни папу и что он притворяется пай-мальчиком, а вечером в постели трогает свою пиписку. К счастью, Господь не мог все это помнить, потому что на свете очень много маленьких мальчиков. Когда же Люсьен ударял себя в лоб и говорил: «Хлеб», Господь в ту же минуту забывал все, что видел. Люсьен попробовал убедить Господа, что любит свою маму. Время от времени он повторял про себя: «Как я люблю мою дорогую мамочку!» Но в его душе всегда оставался маленький уголочек, который не был вполне убежден в этом, и Господь конечно же видел это. И в таком случае победителем выходил Он. Но иногда Люсьену удавалось полностью слиться с тем, что он говорил. Он произносил быстро-быстро, четко выговаривая: «О, как я люблю мою маму!», перед ним возникало лицо мамы, он чувствовал себя совсем растроганным и смутно, совсем смутно думал, что Господь смотрит на него, а потом об этом уже вовсе нужно было не думать, ему становилось приторно-сладко от нежности и появлялись эти слова, которые так и звенели в его

ушах: мама, *мама*, МАМА. Конечно, длилось это лишь одно мгновение, это было почти так же, как если бы Люсьен пытался заставить стоять стул на двух ножках. Но если в этот миг Люсьен произносил слово «пакота», то Господь оказывался побежденным. Он видел только Добро, и все, что Он успел увидеть, навсегда запечатлевалось в Его памяти. Но Люсьена скоро утомила эта игра, потому что она требовала слишком больших усилий и в итоге никогда нельзя было знать, выиграл Господь или проиграл. Господь больше не интересовал Люсьена. Во время первого причастия господин кюре сказал, что Люсьен самый умный и набожный мальчик из всех, кто изучал у него катехизис. Люсьен быстро все схватывал и имел хорошую память, но голова его была наполнена каким-то туманом.

В воскресенье туман рассеивался. Он рассеивался, когда Люсьен гулял с папой по парижской дороге. Он был в красивой матроске, им попадались рабочие папы, которые приветствовали и папу, и Люсьена. Папа подходил к ним, и они говорили: «Добрый день, господин Флерье», а также: «Добрый день, маленький хозяин». Люсьен любил рабочих, потому что они хотя и были взрослыми, но отличались от других. Во-первых, они называли его «мсье». Во-вторых, они носили фуражки и у них были большие ладони с коротко остриженными ногтями; их ладони казались измученными и израненными. Они были людьми ответственными и уважаемыми. Нельзя было дернуть за усы папашу Булиго: папа отругал бы Люсьена за это. Но папаша Булиго, обращаясь к папе, снимал фуражку, а папа и Люсьен оставались в шляпах; и папа громким, шутливо-ворчливым голосом спрашивал: «Ну что, папаша Булиго, ждешь своего сынка, ну и когда же он получит отпуск?» — «В конце месяца, мсье Флерье, спасибо, мсье Флерье». Папаша Булиго сиял от счастья, и он не позволил бы себе, подобно господину

Буфардые, шлепнуть Люсьена по заду, называя его Лягушонком. Люсьен не выносил господина Буфардые, потому что тот был очень уродлив. Но когда Люсьен видел папашу Булиго, он чувствовал умиление и ему хотелось быть добрым. Однажды, вернувшись с прогулки, папа посадил Люсьена на колени и стал ему объяснять, что значит быть хозяином. Люсьен хотел знать, как папа разговаривает с рабочими на заводе, и папа объяснил ему, как следует себя держать; голос его резко изменился. «Я тоже стану хозяином?» — спросил Люсьен. «Ну конечно же, мой малыш, для того я тебя и создал». — «А кем я буду командовать?» — «Так вот, когда я умру, ты станешь хозяином моего завода и будешь распоряжаться моими рабочими». — «Но ведь они тоже умрут». — «Ну и что, ты будешь командовать их детьми, и ты должен научиться тому, чтобы они слушались тебя и любили». — «Папа, а как заставить себя любить?» Папа подумал немного и сказал: «Прежде всего ты должен всех их знать по фамилиям». На Люсьена это сильно подействовало, и, когда сын мастера Мореля пришел к ним домой сообщить, что его отцу оторвало два пальца, Люсьен говорил с ним серьезно и ласково, глядя ему прямо в глаза и называя Морелем. Мама сказала, что она горда тем, что у нее такой добрый и чуткий мальчик. Но тут наступило перемирие, каждый вечер папа читал вслух газету, все говорили о русских, о немецком правительстве, о репарациях, а папа показывал Люсьену на карте разные страны. Для Люсьена этот год оказался самым скучным в его жизни, ему больше нравилось, когда шла война; теперь же у всех был какой-то праздничный вид и огоньки, которые раньше горели в глазах госпожи Коффен, потухли. В октябре 1919 года госпожа Флерье определила его учеником экстерном в школу Сен-Жозеф.

В кабинете аббата Жерроме было жарко. Люсьен стоял возле кресла господина аббата, заложив руки за спину и смертельно скучая. «Неужели мама не собирается скоро уходить?» Но госпожа Флерье пока и не думала уходить. Она сидела на краешке зеленого кресла, склонившись своей пышной грудью к господину аббату; говорила она очень быстро и тем особым, певучим голосом, какой появлялся у нее, когда она гневалась, но не хотела этого показывать. Господин аббат говорил степенно, и слова в его устах, казалось, были гораздо длиннее, чем в устах других людей; он словно обсасывал слова, как леденец, прежде чем высказать их. Он объяснял маме, что Люсьен хороший, воспитанный и трудолюбивый мальчик, но совершенно ко всему безразличный, а госпожа Флерье заметила, что она очень огорчена этим, так как полагала, что перемена обстановки пойдет ему на пользу. Она спросила, играет ли он хотя бы на переменах. «Увы, мадам,— отвечал добрый священник,— по-видимому, даже игры не слишком его интересуют. Иногда он ведет себя шумно и даже грубо, но быстро устает; я думаю, что ему не хватает упорства». Люсьен подумал: «Ведь они говорят обо мне». Он был предметом разговора двух взрослых людей, подобно войне, немецкому правительству или господину Пуанкаре; выглядели они озабоченными и рассуждали, как с ним быть. Но эта мысль совсем его не радовала. В ушах его отдавались короткие, певучие слова матери, обсосанные и липкие слова господина аббата; ему хотелось заплакать. К счастью, прозвенел звонок и Люсьена отпустили. Однако на уроке географии он все еще чувствовал себя возбужденным, и ему пришлось попросить у аббата Жакена разрешения выйти в туалет, потому что ему хотелось пройтись.

Свежесть, одиночество и приятный запах туалета успокоили его. Он сел на толчок для очистки совести,

но ему не хотелось; поднял голову и стал читать надписи, которые испещряли дверь кабинки. Кто-то написал чернильным карандашом: «Барато — клоп». Люсьен улыбнулся: верно, Барато — малюсенький, как клоп, и говорили, что он подрастет чуть-чуть, совсем немного, потому что папа у него очень маленький, почти карлик. Люсьен подумал, читал ли Барато эту надпись, и решил, что нет: иначе бы он ее стер. Послюнявив палец, он водил бы им по буквам до тех пор, пока они не исчезли. Люсьен повеселел, представив, как Барато, зайдя в четыре часа в туалет и спустив свои вельветовые штанишки, вдруг прочтет: «Барато — клоп». Возможно, он никогда и не задумывался над тем, какой он маленький. Люсьен пообещал себе называть его клопом с завтрашнего дня, с первой перемены. Он приподнялся и прочел другую надпись, сделанную все тем же чернильным карандашом: «Люсьен Флерье — длинная спарша». Он аккуратно ее стер и вернулся в класс. «Это правда,— думал он, глядя на своих товарищей,— все они ниже меня». И ему стало неприятно. «Длинная спарша». Он сидел за своим маленьким письменным столом из черного дерева. Жермена была на кухне, мама еще не вернулась. На чистом листе он написал: «длинная спаржа», написал правильно. Но слова показались ему слишком обыденными и не произвели на него никакого эффекта. Он позвал: «Жермена, милая Жермена!» — «Чего еще вам?» — спросила Жермена. «Жермена, я хочу, чтобы вы написали на листке: «Люсьен Флерье — длинная спаржа». — «Вы сошли с ума, мсье Люсьен?» Он обвил руками ее шею: «Жермена, милая, ну будьте так добры». Жермена рассмеялась и вытерла сальные пальцы о фартук. Пока она писала, он не смотрел на нее, но потом отнес листок в свою комнату и долго его разглядывал. Почерк у Жермены был угловатый, и Люсьену казалось, что он слышит резкий голос, который шепчет ему на ухо: «Ну ты,

длинная спаржа». Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же длинный, как Барато — маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили: до сего дня он считал естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось, что его вдруг обрекли до конца дней оставаться длинным. Вечером он спросил отца, можно ли стать меньше, если очень этого захотеть. Господин Флерье ответил, что нет: все Флерье были высокими и сильными, Люсьен еще подрастет. Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила его спать, он встал и подошел к зеркалу — посмотреть на себя. «Я — длинный». Но как он ни пытался рассмотреть себя, ничего не выходило: он был не большой и не маленький. Он приподнял немного рубашку и посмотрел на свои ноги; он представил, как Костиль говорит Эбрау: «Эй ты, посмотри-ка на длинные ноги спаржи», и это показалось ему очень смешным. Было холодно, Люсьен поежился, а кто-то сказал: «У спаржи гусиная кожа!» Люсьен высоко задрал подол своей рубашки, и они увидели его пупок, все его прочее «хозяйство», потом он подбежал к кровати и нырнул под одеяло. Сунув руку под рубашку, он представил, что Костиль смотрит на него и говорит: «Смотрите-ка, что вытворяет длинная спаржа!» Он вздрогнул, повернулся на другой бок и шептал: «Длинная спаржа! Длинная спаржа!» — до тех пор, пока не почувствовал меж пальцев острое пощипывание.

В последующие дни ему хотелось попросить у господина аббата разрешения пересесть в глубину класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя не видел его, а часто и вовсе о нем не вспоминал. Но когда он, лихо отвечая господину аббату, читал наизусть монолог Дона Диего, те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали

с усмешкой: «Какой он худой, шея у него, как две веревки». Люсьен старался читать с выражением и передать унижение Дона Диего. Своим голосом он владел отлично, но его затылок неизменно оставался спокойным и невыразительным, а Буассе его разглядывал. Люсьен не смел пересесть на другое место, так как последние парты занимали лоботрясы, но затылок и лопатки Люсьена постоянно зудели, и он был вынужден беспрерывно чесаться. Люсьен придумал новую игру: по утрам, когда он сам мылся в тазу в туалетной комнате, как взрослый, он воображал, будто за ним подглядывают в замочную скважину то Костиль, то папаша Булиго, то Жермена. И он начинал вертеться, чтобы они могли видеть его со всех сторон, а иногда, повернувшись к двери задом, опускался на четвереньки, чтобы его попка выглядела более круглой и смешной; ему казалось, что господин Буфардьё на цыпочках подкрадывается к нему, чтобы помять ему зад. Однажды, сидя в туалете, он услышал поскрипывание: это Гертруда натирала воском буфет в коридоре. Сердце у него замерло, он неслышно открыл дверь и вышел со спущенными штанами и задранной рубашкой. Ему приходилось семенить ногами, чтобы не упасть. Жермена невозмутимо взглянула на него. «Вы что, в штаны наделали?» — спросила она. Он в бешенстве подтянул штаны и, убежав в свою комнату, бросился на кровать. Госпожа Флерье была в отчаянии и часто говорила мужу: «Он был такой милый малыш, и посмотри, в какого увальня превратился,— ну что за горе!» Бросив на Люсьена рассеянный взгляд, господин Флерье отвечал: «Это возраст!» Люсьен не знал, что делать со своим телом: чем бы он ни занимался, у него всегда складывалось впечатление, что все части его тела существуют сами по себе, ничуть его не слушаясь. Люсьену понравилось воображать себя невидимкой, а потом он взял в привычку подглядывать в замоч-

ные скважины, чтобы, мстя за себя, узнать, как ведут себя другие, оставаясь наедине. Он видел, как моется его мать. Она сидела на биде с сонным видом, словно совсем забыв о своем теле и даже лице, потому что думала, что она одна. Губка сама собой двигалась по ее расслабленному телу; движения были ленивые, и казалось, что мама сейчас замрет. Мама намылила небольшую тряпочку и сунула руку между ног. Лицо у нее было посвежевшим, почти печальным, наверняка она думала о чем-то, об учебе Люсьена или о господине Пуанкаре. Но все это время она *была* этой огромной розовой массой, этим громоздким, усевшимся на фаянсовое биде телом. В другой раз Люсьен, сняв туфли, поднялся в мансарду. Он увидел Жермену. Она была в длинной зеленой рубашке, доходившей чуть ли не до пяток, и расчесывала волосы перед маленьким круглым зеркальцем, томно улыбаясь своему отражению. Какой-то глупый смех разобрал Люсьена, и он был вынужден пулей сбегать вниз. После этого он долго улыбался и гримасничал перед псише в гостиной и кончил тем, что его даже охватил жуткий страх.

В конце концов Люсьен просто заснул, но никто не заметил этого, кроме госпожи Коффен, которая прозвала его спящим красавцем; большой ком воздуха, который он не мог ни проглотить, ни выплюнуть, вынуждал его постоянно держать рот полуоткрытым: так он *зевал*, когда оставался один. Ком начинал расти, нежно лаская ему небо и язык; рот его широко раскрывался, и по щекам катились слезы; это были необыкновенно приятные мгновения. Ему уже не доставляло радости сидеть в туалете, но зато очень нравилось чихать, это пробуждало его и заставляло на несколько секунд смешно оглядываться по сторонам, а потом на него снова нападала дремота. Он научился различать разные виды сна. Зимой он садился у камина и склонял

голову к огню; сильно разогревшись и сделавшись пунцово-красной, голова сразу как-то пустела; Люсьен называл это «соснуть головой». Утром по воскресеньям он, наоборот, засыпал ногами: он вставал в ванну, медленно присаживался, и сон с тихим плеском обволакивал его ноги и бока. И над этим задремавшим, раздутым в воде, белым, похожим на вареную курицу телом возвышалась белокурая головка, набитая учеными словами: templum, templi, templo, подземный толчок, иконоборцы. В классе сон был бесцветным, пронзаемым вспышками. «Что мог поделать он против троих?» Первым был Люсьен Флерье. «Чем является сейчас Третье Сословие?— Ничем». Первым был Люсьен Флерье, вторым Винкельман. Пеллеро был первым по алгебре; у него было всего лишь одно яичко, второе не опустилось; он требовал два су за то, чтобы его посмотреть, десять — за то, чтобы потрогать. Люсьен дал десять, помешкал, протянул руку, но отошел, так и не потрогав, хотя потом так сильно жалел об этом, что мог не засыпать больше часа. В геологии он был не столь силен, как в истории: первым был Винкельман, Флерье — вторым. В воскресенье Люсьен вместе с Костилом и Винкельманом катался на велосипеде. Проезжая через прибитые жарой выцветшие поля, велосипеды скользили по бархатистой пыли; ноги у Люсьена были быстрые и мускулистые, но усыпляющий запах дороги кружил ему голову, он склонялся над рулем, глаза у него краснели и почти смежались. Три раза подряд он получил высшие награды. Ему вручили книги «Фабиола, или Церковь в катакомбах», «Гений христианства» и «Жизнь кардинала Лавижери». По возвращении с летних каникул Костиль научил их петь. „*De Profondis Morpionibus*“ и «Артиллерист из Метца». Люсьен придумал еще лучше и прочитал в медицинском словаре отца статью «Матка». Затем он объяснил им, как устроены жен-

щины, набросав даже небольшой рисунок на доске, на что Костиль заметил, что это отвратно; но после этого они уже не могли без громкого смеха слышать о трубах, и довольный Люсьен думал, что во всей Франции не найти ученика второго класса или даже класса риторики, который, подобно ему, разбирался бы в женских органах.

Когда Флерье поселились в Париже, Люсьен был просто ослеплен. Он потерял сон из-за этих кино, автомобилей и улиц. Он научился отличать «вуазен» от «паккарда», «испаносуизу» от «роллса» и при случае рассуждал об автомобилях с низкой посадкой; уже больше года он носил длинные брюки. В качестве поощрения за успехи, проявленные им в сдаче первых экзаменов на бакалавра, отец отправил его в Англию. Люсьен увидел луга, залитые водой, и белые утесы, занимался боксом с Джоном Латимером и узнал, что такое аперкот, но в одно прекрасное утро он проснулся сонным, и все началось сначала; в Париж он вернулся совсем вялым. Выпускной класс с математическим уклоном в лицее Кондорсе насчитывал тридцать семь учеников. Восемь из них утверждали, что они ребята разбитные, и третировали остальных, как девственников. Разбитные презирали Люсьена вплоть до первого ноября, но в День Всех Святых Люсьен пошел прогуляться с Гарри, самым отпетым из них, и с небрежным видом выказал столь глубокие и детальные знания женской анатомии, что Гарри был ошарашен. Люсьен не вошел в группу разбитных, так как родители не разрешали ему по вечерам выходить из дому, но отношения с ними сложились у него на равных.

По четвергам к ним на улицу Рейнуар приходила завтракать тетя Берта вместе с Рири. Она сделалась чудовищно толстой и печальной и все время вздыхала; но так как кожа у нее оставалась очень чистой и белой,

Люсьену хотелось бы увидеть ее голой. Вечерами, лежа в постели, он думал: это будет зимним днем, в Булонском лесу, ее найдут голой среди деревьев, и она будет стоять, сложив руки на груди, вся дрожа, с кожей, покрытой пупырышками. Он представлял себе, что какой-нибудь близорукий прохожий, дотронувшись до нее кончиком трости, спросит: «Что, что это такое?» Люсьен не очень-то ладил со своим кузенком: Рири превратился в красивого юношу, правда слишком щеголеватого; он был в классе философии в лицее Лаканаль, в математике ничего не смыслил. Люсьен не мог заставить себя не думать о том, что Рири, когда ему уже исполнилось семь лет, все еще делал в штаны и при этом ходил по-утиному, раскорячив ноги, и уверял мать, глядя на нее невинными глазами: «Нет, мама, я не обкакался, клянусь тебе». Люсьену было немного противно касаться руки Рири. И все-таки он был с ним очень любезен и даже объяснял задания по математике; ему часто приходилось с трудом сдерживать себя, чтобы не потерять терпение, ибо Рири соображал туго... Но Люсьен не позволял себе горячиться и всегда говорил ровным и спокойным голосом. Госпожа Флерье находила, что Люсьен проявлял исключительный такт, хотя тетя Берта не выказывала ему никакой благодарности. Когда Люсьен предлагал Рири вместе делать уроки, она слегка краснела и, ерзая на стуле, возражала: «Да нет, ты очень добр, мой маленький Люсьен, но Рири уже большой мальчик. Он сам сможет, если захочет, и не следует приучать его рассчитывать на других». Однажды вечером госпожа Флерье неожиданно сказала Люсьену: «Ты, наверное, думаешь, что Рири благодарен тебе за то, что ты для него делаешь? Не стоит обольщаться, мой мальчик: он считает тебя зазнайкой, это мне сказала твоя тетя Берта». Она сказала это своим певучим голосом, с добродушным видом. Люсьен понял, что она кипит от злости.

Он был смутно заинтригован и не нашелся что ответить. В последующие два дня ему пришлось много работать, и этот разговор вылетел у него из головы.

В воскресенье утром он вдруг положил перо и спросил себя: «Неужели я зазнайка?» Было одиннадцать часов; Люсьен сидел за письменным столом и рассматривал розовые фигурки на кретоне, которым были обиты стены; левой щекой он ощущал сухое, пыльное тепло первого апрельского солнца, правой — душный густой жар от батареи. «Неужели я зазнайка?» Ответить на вопрос было трудно. Сперва Люсьен попытался восстановить в памяти свой последний разговор с Рири и беспристрастно оценить собственное поведение. Склонившись к Рири и улыбаясь, он спрашивал: «Сечешь? Если не сечешь, старик, говори, не бойся, мы повторим еще раз». Чуть позже он сам ошибся в решении сложного уравнения и воскликнул весело: «Вот и мой черед». Это выражение он перенял от господина Флерье, и оно казалось ему очень забавным. Ошибка была пустяжная. «Но разве я зазнавался, когда сказал об этом?» В напряженных поисках ответа он внезапно вновь представил себе нечто белое, округлое, рыхлое, словно клочок облака,— это была его мысль в тот день, когда он спросил «Сечешь?», и она оставалась в его голове, однако не могла принять четких очертаний. Он делал отчаянные усилия, чтобы *разглядеть* этот клочок облака, и вдруг ощутил, что он провалился в него вниз головой, оказался в сплошном тумане и сам превратился в пар; теперь он был белым и сырым, теплым паром, которым пахнет бельё. Он хотел выбраться из этого тумана и снова посмотреть на него со стороны, но тот обволакивал его со всех сторон. Он думал: «Это я, Люсьен Флерье, я нахожусь в своей комнате и решаю задачу по физике, сегодня воскресенье». Но его мысли, белые на белом фоне, тонули в тумане. Он встряхнулся и принялся

пристально разглядывать фигурки на кретоне — двух пастушек, двух пастушков и Амура. Затем он вдруг сказал себе: «Это я, я существую...», и в нем словно что-то щелкнуло: он очнулся от своей долгой дремы.

Пробуждение не было приятным: пастушки отпрыгнули назад, и Люсьену казалось, что он смотрит на них в перевернутый бинокль. А вместо того оцепенения, которое было ему так приятно и с наслаждением пряталось в своих самых потаенных уголках, теперь возникла легкая, очень ясная растерянность, заключающаяся в вопросе «Кто же я?».

«Кто же я? Я смотрю на письменный стол, вижу тетрадь. Меня зовут Люсьен Флерье, но это всего лишь имя. Зазнаюсь я или не зазнаюсь. Не знаю, это не имеет смысла. Я хороший ученик. Нет, я им прикидываюсь: хороший ученик любит работать, а я нет. У меня хорошие отметки, но работать я не люблю. Не то чтоб я ненавижу работу, нет, мне на нее наплевать. Мне на все наплевать. Я никогда не стану шефом». Он подумал со страхом: «Но кем же я стану?» Прошло несколько минут; он почесал левую щеку и прищурил левый глаз, так как его слепило солнце: «Что же все-таки такое я?» Перед ним простирался этот туман, подернутый туманом неопределимый, бесконечный «Я». Он смотрел куда-то в пространство, слово это звенело у него в голове, и потом там, наверное, можно было различить нечто, похожее на темное острие пирамиды, стороны которой убегали вдаль, в туман. Люсьен чувствовал озноб, и руки у него дрожали. «Так оно и есть,— думал он,— так оно и есть! Я был в этом уверен: я не существую».

В течение месяцев, которые последовали за этим, Люсьен не раз пытался снова погрузиться в дрему, но ему это не удавалось; он исправно спал по девять часов в сутки, в остальное время был очень оживлен и совсем

растерян; родители утверждали, что никогда он не выглядел так хорошо. Когда ему случалось задумываться над тем, что у него нет качеств шефа, он ощущал себя романтиком и ему хотелось часами бродить под луной; но родители все еще не позволяли ему выходить по вечерам. Часто, растянувшись на кровати, он измерял температуру: термометр показывал 37,5 или 37,6, и Люсьен с каким-то горьким удовольствием думал о том, что родители находят его здоровым. «Я не существую». Он закрывал глаза и размышлял: существование — это иллюзия; раз я *знаю*, что не существую, то стоит мне заткнуть уши, не думать больше ни о чем, и я исчезну. Но иллюзия держалась стойко. И все-таки он обладал над другими людьми весьма хитрым преимуществом — он имел свою тайну; Гарри, к примеру, тоже не существовало, как и Люсьена. Но достаточно было видеть, как он шумно взбрыкивает среди своих обожателей, и сразу было ясно, что он непоколебимо верит в свое существование. Господин Флерье тоже не существовал, как и Рири, не существовало никого — мир был комедией без актеров. Получив оценку 15 баллов за свое сочинение «Мораль и наука», Люсьен задумал написать «Трактат о небытии» и представлял себе, как, читая его, люди станут исчезать один за другим, словно вампиры при крике петуха. Прежде чем приступить к работе над трактатом, он решил посоветоваться с Бабуэном, своим преподавателем философии. «Извините, мсье,— спросил он его в конце урока,— можем ли мы утверждать, что нас не существует?» Бабуэн ответил, что нет. «Когито,— сказал он,— эрго сум. Вы существуете, потому что сомневаетесь в своем существовании». Ответ не убедил Люсьена, но от написания своей работы он отказался. В июле он без особого блеска сдал экзамены на бакалавра математики и вместе с родителями отправился

в Фероль. Растерянность не покидала его ни на минуту, это было как желание чихнуть.

Папаша Булиго умер, а настроения рабочих господин Флерье сильно изменились. Теперь они получали большие зарплаты, а их жены покупали шелковые чулки. Госпожа Буфардье сообщала госпоже Флерье потрясающие подробности: «Моя служанка рассказала мне, что видела вчера в закуской малютку Ансьен, дочь одного порядочного рабочего вашего мужа, в судьбе которой мы принимали участие, когда она потеряла мать. Она вышла за наладчика с завода Бопертюи. Знаете, она заказала цыпленка за восемь франков! Какая наглость! Эти дамочки от всего нос воротят, они хотят иметь все то, что и мы». Теперь, когда Люсьен с отцом совершали воскресную прогулку, рабочие, завидя их, едва касались кепок, а кое-кто проходил мимо и вовсе не здороваясь. Однажды Люсьен повстречался с сыном Булиго, который, казалось, даже его не узнал. Люсьена слегка это задело — ему представилась возможность доказать себе, что здесь хозяин он. Устремив на Жюля Булиго орлиный взор и заложив руки за спину, он шел прямо на него. Но Булиго не смутился: он, глядя на Люсьена пустыми глазами в упор, что-то насвистывал. «Он меня не узнал», — решил Люсьен. Но он был глубоко разочарован и все последующие дни больше, чем когда-либо, думал о том, что мир не существует.

Маленький револьвер госпожи Флерье хранился в левом ящике ее комода. Муж подарил его ей в сентябре 1914 года, перед отъездом на фронт. Люсьен взял его и долго вертел в руках; это была дорогая вещь с позолоченным стволом и отделанной перламутром рукояткой. Нельзя было рассчитывать на философский трактат, чтобы убедить людей в том, что они не существуют. Для этого требовался поступок по-настоящему

отчаянный, который рассеял бы все видимости и с совершенной очевидностью доказал бы небытие мира. Один выстрел, юное, истекающее кровью тело на ковре, несколько слов, нацарапанных на листке бумаги: «Я убиваю себя потому, что я не существую. И вы, мои братья, вы тоже ничто!» Утром, раскрыв, как обычно, газеты, они прочтут: «Юноша решил!» И каждый почувствует ужасное волнение и спросит себя: «А я? Разве я существую?» В истории известны подобные эпидемии самоубийств, и особенно сильная — после появления «*Вертера*». Люсьен вспомнил, что «*martyr*» * по-гречески означает «свидетель». Он был слишком чувствительный, чтобы стать шефом, но мучеником он мог стать. Поэтому он часто заходил в будуар матери, рассматривал револьвер и ужасно мучился. Ему даже случалось брать в рот позолоченный ствол, крепко сжимая пальцами рукоятку. В другое время он бывал довольно весел, ибо был убежден, что все настоящие шефы знавали искушение самоубийством. Наполеон, к примеру. Люсьен не скрывал от себя, что он касался дна отчаяния, но надеялся выйти из этого кризиса с закаленной душой и с интересом прочел «*Мемуары со Святой Елены*». Тем не менее надо было принимать решение: Люсьен намерен положить конец своим колебаниям 30 сентября. Последующие дни были крайне тяжелыми; несомненно, кризис был спасительным, но он требовал от Люсьена такого сильного напряжения, что Люсьен опасался, что в один прекрасный день он сломается, как стекло. Он больше не смел коснуться револьвера, он ограничивался тем, что выдвигал ящик и, приподняв комбинации матери, подолгу созерцал это маленькое, холодное, как лед, и упрямое чудовище, которое забилося в ямку из розового шелка. Однако, решив

* *Martyr* (фр.) — мученик.

принять жизнь, он ощутил острое разочарование и почувствовал, что ему нечем заняться. К счастью, его поглотило множество забот, связанных с началом учебного года: родители определили его в лицей Святого Людовика, в подготовительный класс, для поступления в Центральную Школу. Он стал носить красивую фуражку с красным околышем и эмблемой Школы и распевал:

Поршень двигает машины,
Поршень двигает вагоны...

Новое звание «поршня» * переполняло Люсьена гордостью; к тому же его класс не был похож на другие классы, у него имелись свои традиции и свой ритуал; он представлял собой силу. Например, было принято, чтобы за четверть часа до окончания урока французского языка кто-то вдруг громко спрашивал: «Сирар» ** — это кто такой?» — и все тихо отвечали: «Дурак сплошной!» После чего тот же голос продолжал: «Агро» *** — это кто такой?» — и ему отвечали громче: «Дурак сплошной!» Тут господин Бетюнь, который очень плохо видел и носил черные очки, устало просил: «Замолчите же, господа!» На несколько мгновений воцарялась абсолютная тишина, ученики заговорщически переглядывались, и кто-то выкрикивал: «Ну а «поршень» — кто такой?», и весь класс ревел: «Это парень мировой!» В эти минуты Люсьен чувствовал себя крайне возбужденным. Вечером он во всех подробностях сообщал родителям о различных про-

* Здесь непереводаемая игра слов. Слово «le piston» (поршень) на школьном жаргоне означает «ученик Центрального училища прикладных искусств».

** «Сирар» (арго) — выпускник военного училища Сен-Сьер.

*** «Агро» (арго) — агроном, выпускник сельскохозяйственного училища или института.

исшествиях дня, и, когда он говорил: «И тут весь класс заржал...» или «Весь класс решил объявить Мэрине бойкот», слова, вылетая у него изо рта, согревали небо, как глоток алкоголя. Однако первые месяцы были очень трудными: Люсьен плохо справлялся с заданиями по математике и физике, да и его товарищи не были лично ему столь уж симпатичны: они были стипендиаты, в большинстве своем зубрилы, люди неприятные, с дурными манерами. «Среди них нет ни одного,— сказал он отцу,— с кем мне хотелось бы подружиться». — «Стипендиаты,— задумчиво ответил господин Флерье,— представляют собой интеллектуальную элиту, и все-таки из них получаются плохие шефы: они пропустили в жизни важный этап». Люсьен, услышав о «плохих шефах», ощутил неприятное покалывание в сердце и снова решил покончить с собой в ближайшие недели; но он уже не был охвачен тем восторгом, как во время каникул. В январе новый ученик по фамилии Берлиак поверг в смятение весь класс: он носил приталенные модные пиджаки зеленого или сиреневого цвета, воротнички с округлыми уголками и брюки, словно с рекламных картинок портных,— такие узкие, что все удивлялись, как он вообще мог их натянуть. Сразу же он оказался худшим учеником класса по математике. «Мне на это плевать,— заявил он,— я литератор и математикой занимаюсь для умерщвления плоти». Через месяц он покори́л весь класс: он раздавал контрабандные сигареты и сказал, что имеет женщин, даже показал письма, которые они ему писали. Весь класс решил, что он — потрясный парень и лучше его не трогать. Люсьена сильно восхищали его элегантность и манеры, хотя Берлиак относился к нему снисходительно и называл «сыноком богачей». «В конце концов,— заметил как-то Люсьен,— все-таки лучше, что я не сынок бедняков». Берлиак

улыбнулся. «Да ты циник, малыш!» — сказал он и на другой день прочитал Люсьену одно из своих стихотворений: «Каждый вечер Карузо объедался сырыми глазами, а вообще трезв, как верблюд. Одна женщина составила букет из глаз членов своей семьи и швырнула его на сцену. И каждый склонился перед столь похвальным поступком. Но не забывайте, что час его славы длился всего тридцать семь минут, а именно с первого крика «браво!» до затмения большой люстры Оперы (поэтому даме пришлось водить на поводке своего мужа, лауреата многих конкурсов, который двумя боевыми крестами завешивал розовые впадины своих глазных орбит). И запомните хорошенько: те из вас, кто будет неумеренно потреблять консервированную человеческую плоть, погибнут от цинги». — «Здорово», — сказал Люсьен в замешательстве. «Здесь, — небрежно пояснил Берлиак, — я использовал новую технику, так называемое «автоматическое письмо». Через несколько дней, когда у Люсьена опять возникло неистовое желание покончить с собой, он решил спросить совета у Берлиака. «Что же мне делать?» — спросил он, изложив свое сложное положение. Берлиак слушал его внимательно; у него была привычка слюнявить пальцы и смазывать слюной прыщи на лице, отчего его кожа блестела местами, как асфальт после дождя. «Поступай как хочешь, — наконец сказал он, — это не имеет никакого значения». Он подумал немного и добавил, четко выговаривая отдельные слова: «Ничто никогда не имеет никакого значения». Люсьен был слегка разочарован, но понял, что произвел на Берлиака глубокое впечатление, ибо тот в следующий четверг пригласил Люсьена на завтрак к своей матери. Госпожа Берлиак была очень любезна; лицо ее усеивали бородавки, а на левой щеке расплывалось большое багровое пятно. «Видишь, — сказал Берлиак Люсьену, — истинные

жертвы войны — это мы». Люсьен разделял его мнение, и они сошлись на том, что оба принадлежат к потерянному поколению. Вечерело, Берлиак лежал на своей кровати, заложив руки за голову. Они курили английские сигареты, заводили граммофонные пластинки, и Люсьен слышал голоса Софи Такор и Эла Джонсона. Они совсем загрустили, и Люсьен подумал, что Берлиак — его лучший друг. Берлиак спросил, знаком ли он с психоанализом; голос у него был серьезный, и он многозначительно смотрел на Люсьена. «До пятнадцати лет я желал обладать своей матерью», — признался он. Люсьену стало не по себе, он боялся покраснеть, и, кроме того, вспомнив о бородавках госпожи Берлиак, он никак не понимал, как ее можно было желать. Тем не менее, когда она вошла, принеся им тосты, он почувствовал смутное волнение и попытался угадать через желтую вязаную фуфайку, какая у нее грудь. Когда она вышла, Берлиак объявил уверенным тоном: «Ты, естественно, тоже хотел переспать с матерью». Он не задавал вопроса, а давал ответ. «Естественно», — пожав плечами, сказал Люсьен. На следующий день ему было тревожно, он боялся, как бы Берлиак не возобновил этот разговор. Но он быстро успокоился: «В конце концов он скомпрометировал себя больше, чем я». Его очень привлекала та научность, в которую облекались их признания, и в следующий четверг в библиотеке Сент-Женевьев он прочел труд Фрейда о сновидениях. Это было откровение. «Так вот в чем дело, — повторял Люсьен, бродя по улицам, — вот в чем дело!» Затем он купил *«Лекции по введению в психоанализ»* и *«Психопатологию обыденной жизни»*, и ему все стало ясно. Это странное ощущение, будто он не существует, та пустота, которую он давно ощущал в своем сознании, его сонливость, его растерянность, все эти тщетные усилия познать самого себя, что всегда наталкивались на

какую-то завесу тумана. «Черт возьми,— думал он,— да у меня же комплекс». Он рассказал Берлиаку, что в детстве воображал себя лунатиком, а все предметы никогда не казались ему вполне реальными. «Должно быть,— заключил он,— это мой скрытый комплекс». — «То же и у меня,— сказал Берлиак,— у нас с тобой фирменные комплексы!» Они пытались истолковывать свои сны и самые свои незначительные поступки, и Берлиак всегда был готов рассказать столько разных историй, что Люсьен даже слегка подозревал его в том, что он их придумывает или по крайней мере приукрашивает. Но они отлично понимали друг друга и объективно обсуждали самые деликатные темы; они признались друг другу, что носили маску веселости, обманывая окружающих, но в глубине души ужасно страдали. Люсьен освободился от своих тревог. Он с жадностью набросился на психоанализ, так как понял, что это именно то, в чем он нуждался, он теперь чувствовал себя окрепшим, не видел больше необходимости волноваться и вечно искать в своем сознании ощутимые проявления своего характера. Подлинный Люсьен был глубоко скрыт в бессознательном; надо было грезить о нем, никогда его не видя, как о человеке. Весь день напролет Люсьен размышлял о своих комплексах, не без некоторой гордости представляя себе тот таинственный, жестокий и яростный мир, что копошился под эмоциями его сознания. «Понимаешь,— говорил он Берлиаку,— с виду я вечно сонный и безразличный ко всему малый, не слишком-то интересный. Да и внутри меня, знаешь, все так на это похоже, что я чуть было не попался на эту удочку. Но я прекрасно знал, что есть нечто иное». — «*Всегда* есть нечто иное», — отвечал Берлиак. И, гордые собой, они улыбались друг другу. Люсьен написал поэму под названием «*Когда туман рассеется*», Берлиак нашел ее замечательной,

но упрекнул Люсьена, что он написал ее правильными стихами. Тем не менее они выучили ее наизусть, и, когда им хотелось поговорить о своем либидо, они охотно повторяли: «Огромные крабы, затаившиеся под покровом тумана», потом — только «крабы», подмигивая друг другу. Но через какое-то время Люсьен, когда оставался один — особенно вечером, — начинал находить все это страшноватым. Он не осмеливался больше смотреть в глаза матери и, когда заходил поцеловать ее перед сном, пугался, как бы некая темная сила не извратила его поцелуй и не заставила припасть к губам госпожи Флерье; это было так, словно в нем клокотал вулкан. Люсьен относился к себе бережно, чтобы не тревожить ту великолепную и опасную душу, которую он в себе открыл. Теперь он знал ей цену и боялся ее жутких пробуждений. «Мне страшно себя», — думал он. Уже полгода как он отказался от онанизма, потому что это ему надоело, и ему приходилось много заниматься, но к одиноким наслаждениям вновь вернулся: каждый должен следовать своим наклонностям; книги Фрейда были переполнены рассказами о несчастных молодых людях, которые, резко порвав со своими привычками, заболели неврозами. «А не сходим ли мы с ума?» — спрашивал он Берлиака. И действительно, иногда по четвергам они чувствовали себя какими-то странными: сумерки украдкой заползали в комнату Берлиака, они выкуривали целые пачки сигарет с опиумом, руки у них дрожали. Тогда один из них вставал, не говоря ни слова, на цыпочках подбирался к двери и поворачивал выключатель. Желтый свет мгновенно заполнял комнату, и они с недоверием смотрели друг на друга.

Очень скоро Люсьен заметил, что его дружба с Берлиаком основывается на каком-то недоразумении: никто, разумеется, сильнее Люсьена не чувствовал вол-

нующей красоты Эдипова комплекса, но он видел в нем главным образом признак той силы страсти, которую позднее он желал бы направлять на иные цели. Берлиаку, наоборот, нравилось находиться в таком состоянии, и он не хотел из него выходить. «Мы с тобой люди пропащие,— говорил он с гордостью,— неудачники. Мы никогда ничего не сделаем». — «Никогда ничего», — эхом вторил Люсьен. Но его это злило. По возвращении с пасхальных каникул Берлиак рассказал, что в Дижоне занимал вместе с матерью одну комнату в отеле; встав очень рано, он подошел к кровати спящей матери и осторожно приподнял одеяло. «Рубашка ее была вздернута», — усмехнулся он. Слушая его, Люсьен не мог подавить в себе легкого презрения к Берлиаку и почувствовал себя жутко одиноким. Конечно, это очень мило — обладать комплексами, но надо было уметь вовремя от них избавляться: разве сможет зрелый мужчина взять на себя ответственность и кем-то командовать, если он не преодолет детскую сексуальность? Люсьен стал проявлять серьезное беспокойство: ему очень хотелось бы посоветоваться с каким-нибудь сведущим человеком, но он не знал, к кому обратиться. Берлиак часто рассказывал ему о некоем сюрреалисте по фамилии Бержер, который был весьма искушен в психоанализе и, похоже, оказывал на него, Берлиака, большое влияние; но он никогда не предлагал Люсьену познакомиться с ним. Люсьен был очень разочарован и потому, что он рассчитывал на то, что Берлиак будет поставлять ему женщин; он думал, что обладание красивой любовницей совершенно естественно изменило бы направление его мыслей. Но Берлиак больше никогда не говорил о своих красивых подружках. Иногда они прогуливались по большим бульварам и преследовали молодых бабенок, хотя и не осмеливались с ними заговорить. «А чего ты хочешь,

старик,— говорил Берлиак,— мы не принадлежим к той породе, которая нравится. Женщины чувствуют в нас нечто такое, что их пугает». Люсьен молчал: Берлиак начинал его раздражать. Он часто отпускал довольно пошлые шутки насчет родителей Люсьена, называя их господином и госпожой Дюмолле. Люсьен прекрасно понимал, что сюрреалисту полагается презирать буржуазию вообще, но госпожа Флерье много раз приглашала Берлиака в дом и относилась к нему дружески, с доверием; не говоря о благодарности, простой долг приличия должен был помешать ему говорить о ней в подобном тоне. К тому же Берлиак был ужасен своей манерой занимать деньги, которые он не отдавал: в автобусе у него всегда не было мелочи и приходилось платить за него; в кафе желание расплатиться возникло у него лишь в одном из пяти случаев. Люсьен однажды прямо сказал ему, что он этого не понимает, что друзья должны делить все подобные расходы поровну. Пристально посмотрев на него, Берлиак сказал: «Я так и думал, ты — анальный тип», объяснил ему фрейдовскую формулу «фекалии — золото» и фрейдистскую теорию скупости. «Я хотел бы только знать,— сказал он,— до каких лет мать подтирала тебя?» Они едва не поссорились.

С начала мая Берлиак стал пропускать занятия в лицее; теперь Люсьен встречался с ним после уроков на улице Пети-Шан, в баре, где они пили вермут «кру-сификс». Однажды во вторник, после полудня, Люсьен застал Берлиака, который сидел за столиком перед пустой рюмкой. «Явился,— сказал Берлиак.— Послушай, мне надо расплатиться, а у меня в пять прием у дантиста. Подожди меня, он живет рядом, я в полчаса обернусь». — «О'кей,— отвечал Люсьен, плюхаясь на стул.— Франсуа, дайте мне белого вермута». В этот момент в бар вошел мужчина и, заметив их, удивленно

улыбнулся. Берлиак покраснел и поспешно встал. «Кто бы это мог быть?» — спросил про себя Люсьен. Пожилая руку незнакомцу, Берлиак встал так, что закрыл от него Люсьена; он что-то говорил тихим, быстрым голосом, а незнакомец отвечал ему громко: «Да нет, малыш, нет, ты неисправим, ты навсегда останешься паяцем». И в то же время, приподнявшись на носках, он со спокойной уверенностью разглядывал Люсьена через голову Берлиака. Ему можно было дать лет тридцать пять, у него было бледное лицо и великолепные седые волосы. «Наверняка это Бержер,— подумал Люсьен, и сердце его громко стучало,— как он красив!» Берлиак взял мужчину с седыми волосами под локоть каким-то робко-властным жестом.

— Пойдемте со мной,— сказал он,— я иду к дантисту, это в двух шагах отсюда.

— Но ты, кажется, с другом,— ответил тот, не сводя глаз с Люсьена.— Ты должен представить нас.

Люсьен встал, улыбаясь. «Попался!» — подумал он, щеки у него горели. Берлиак втянул шею в плечи, и Люсьену показалось на мгновение, что он сейчас откажется их знакомить.

— Ну, представь же меня,— весело сказал он. Но едва он это сказал, кровь прихлынула к его вискам; ему хотелось бы провалиться сквозь землю.

Берлиак развернулся и, не глядя на них, пробормотал:

— Люсьен Флерье, мой товарищ по лицу, господин Ахилл Бержер.

— Господин Бержер, я восхищаюсь вашими работами,— чуть слышно сказал Люсьен; Бержер обхватил его руку своими длинными тонкими пальцами и заставил его сесть. Наступила тишина; теплый, нежный взгляд Бержера обволакивал Люсьена; он все еще не отпускал его руки.

— Вас что-то тревожит? — мягко спросил он.

Люсьен откашлялся и в упор посмотрел на Бержера.

— Да, тревожит! — четко ответил он. Ему казалось, что он сейчас выдержал испытания обряда посвящения. Берлиак с секунду помешкал и, бросив на стол шляпу, со злостью снова сел на свое место. Люсьен сгорал от желания рассказать Бержеру о своей попытке самоубийства: ведь перед ним был человек, с которым следовало говорить о таких вещах грубо и без подготовки. Но из-за Берлиака Люсьен не решался ничего сказать, он ненавидел Берлиака.

— Есть у вас ракия? — спросил Бержер официанта.

— Нет, ракию они не держат, — с готовностью ответил Берлиак, — в этой лавочке вообще выпить нечего, кроме вермута.

— А что это желтое там, в графине? — спросил Бержер с мягкой непринужденностью.

— Это белый «крусификс», — ответил официант.

— Отлично, дайте мне его.

Берлиак вертелся на своем стуле: казалось, он разрывался между желанием расхвалить своих друзей и опасением выставить напоказ Люсьена в ущерб себе. Наконец он мрачно и гордо сказал:

— Он хотел убить себя.

— Черт возьми! — воскликнул Бержер. — Я так и думал.

Опять наступила пауза; Люсьен скромно потупил глаза, но думал про себя, скоро ли уберется Берлиак. Бержер вдруг взглянул на часы.

— А как же твой дантист? — спросил он.

Берлиак нехотя встал.

— Проводите меня, Бержер, — попросил он, — это в двух шагах.

— Зачем, ты же вернешься. А я составлю компанию твоему товарищу.

Берлиак постоял с минуту, переминаясь с ноги на ногу.

— Валяй, беги,— сказал Бержер властным тоном,— найдешь нас здесь.

Едва Берлиак вышел, Бержер поднялся и бесцеремонно уселся рядом с Люсьеном. Люсьен долго рассказывал ему о своем самоубийстве; он также признался, что желал свою мать, принадлежит к садистско-анальному типу, но, в сущности, ему ничего не нравится, и все в нем было комедией. Бержер слушал его молча, пристально на него глядя, и Люсьен находил, что это очень приятно — быть понятым. Когда он закончил, Бержер фамильярно обнял его за плечи, и Люсьена окутал запах одеколона и английских сигарет.

— Знаете, Люсьен, как я называю ваше состояние? — Люсьен с надеждой смотрел на Бержера: нет, он не ошибся.

— Я называю его Смятением,— сказал он.

Смятение — начало слова было нежным и чистым, словно лунный свет, но заключительное «ие» звучало громким медным звуком охотничьего рожка.

— Смятение,— повторил Люсьен.

Он чувствовал себя строгим и встревоженным, как тогда, когда признался Рири в том, что он лунатик. В баре было темно, но распахнутая дверь выходила на улицу, на светлую, золотистую дымку весны; под тонким ароматом, который источал холеный Бержер, Люсьен улавливал тяжелый запах темного зала, запах красного вина и сырого дерева. «Смятение...— думал он,— и куда только оно меня заведет?» Он толком не знал, что в нем открылось,— какое-то достоинство или новая болезнь; почти у самых глаз он видел подвижные губы Бержера, которые без усталости то скрывали, то открывали блеск его золотого зуба.

— Я люблю людей в смятении,— говорил Бержер,— и нахожу, что вам выпала необыкновенная удача. Ведь вам оно было дано. Видите этих свиней? Они сидячие. Их следовало бы бросить термитам, чтобы те их чуточку расшевелили. Вам известно, что делают эти добросовестные козявки?

— Они едят людей,— ответил Люсьен.

— Верно, они очищают скелеты от человеческого мяса.

— Понимаю,— сказал Люсьен. Он прибавил: — Ну а я? Что же я должен делать?

— Ничего, ради Господа нашего,— воскликнул Бержер с комическим испугом.— И главное — не садиться. Если только это не будет кол,— рассмеялся он.— Вы читали Рембо?

— Н-н-нет,— ответил Люсьен.

— Я вам дам «Озарения». Послушайте, мы должны снова встретиться. Если вы свободны в четверг, заходите ко мне часа в три, я живу на Монпарнасе, дом 9. Улица Кампань-Премьер.

В следующий четверг Люсьен отправился к Бержеру и весь май бывал у него почти ежедневно. Они условились, что скажут Берлиаку, что видятся лишь раз в неделю, потому что хотели быть с ним откровенны, всячески избегая его огорчать. Берлиак оказался совершенно неуместным; он с ухмылкой спросил Люсьена: «Ну что, втюрился? Он тебя купил на тревоге, а ты его на самоубийстве — большая игра, ничего не скажешь!» Люсьен запротестовал. «Должен тебе заметить,— краснея, возразил он,— что ты первым заговорил о моем самоубийстве». — «Да, я,— воскликнул Берлиак,— и только потому, чтобы избавить тебя от стыда сделать это самому». Они стали встречаться реже. «Все, что мне нравилось в нем,— сказал как-то Люсьен Бержеру,— он взял у вас, теперь я это понимаю».—

«Берлиак — обезьяна, — рассмеялся Бержер, — именно это всегда и влекло меня к нему. Вы знаете, его бабушка по матери — еврейка? Этим многое объясняется». — «Конечно», — ответил Люсьен. И спустя мгновение добавил: «Впрочем, в нем есть какой-то шарм». Квартира Бержера была забита множеством странных и смешных вещей: пуфами, чьи сиденья из красного бархата покоились на женских ногах из раскрашенного дерева, негритянские статуэтки, кованный пояс целомудрия с шипами, гипсовые женские груди, которые были утыканы чайными ложками; на письменном столе лежали служившие пресс-папье огромная бронзовая вошь и череп монаха, украденный с кладбища костей в Мистре. Стены были обклеены объявлениями, которые извещали о смерти сюрреалиста Бержера. Несмотря на все, в квартире возникало ощущение продуманного комфорта, и Люсьену нравилось лежать на мягком диване курительной. Но особенно его удивляло великое множество различных шуточных шуток, которые Бержер складывал на этажерку: заледеневшая жидкость, порошок для чихания, волосы для почесывания, плавающий в воде сахар, кашка дьявола, подвязка невесты. Продолжая разговор, Бержер брал в руку кашку дьявола и с серьезным видом разглядывал ее. «Эти штучки имеют огромную революционную ценность — они вызывают тревогу. Разрушительной силы в них больше, чем в Полном собрании сочинений Ленина». Удивленный и зачарованный, Люсьен смотрел то на это страдальческое красивое лицо с глубоко запавшими глазами, то на тонкие длинные пальцы, которые изящно держали превосходно скопированный экскремент. Бержер часто говорил с ним о Рембо и о «систематическом расстройстве всех чувств». «Когда вы, проходя по площади Согласия, сможете усилием воли увидеть негритянку, которая стоит на коленях и сосет обелиск, тогда вы сможете

сказать себе, что вы прорвали декорацию и что вы спасены». Он дал ему читать «*Озарения*», «*Песни Мальдородора*» и сочинения маркиза де Сада. Люсьен добросовестно старался их понять, но многое от него ускользало, и его шокировало, что Рембо был педерастом. Он сказал об этом Бержеру, который в ответ рассмеялся: «Ну и что из этого, малыш?» Люсьен сильно смутился. Он покраснел и с минуту всей душой ненавидел Бержера; но преодолел себя, поднял голову и с наивной откровенностью признал: «Я сказал глупость». Бержер погладил его по волосам, он казался растроганным. «О, эти большие глаза, полные тревоги,— сказал он,— глаза лани... Да, Люсьен, вы сказали глупость. Педерастия Рембо — это самое важное и гениальное расстройство в его чувствах. Этим стихам мы обязаны ей. Думать, что существуют специфические объекты сексуального желания и этими объектами являются женщины, потому что у них есть дырка между ног,— это гнусное добровольное заблуждение всех сидячих. Посмотрите! Он достал из ящика письменного стола дюжину пожелтевших фотографий и бросил их на колени Люсьену. Люсьен увидел ужасных голых шлюх, смеющихся беззубыми ртами, меж раздвинутых, словно губы, ног у них торчало что-то, похожее на заросший мхом язык. «Я купил этот набор за три франка в Бу-Сааде,— сказал Бержер.— Если вы целуете зад одной из таких женщин, то вы свой, и каждый скажет, что вы живете, как настоящий мужчина. Потому что живете с женщинами, понимаете? А я говорю вам: первое, что вы должны сделать, это убедить себя в том, что объектом сексуального желания может стать *все* — швейная машинка, пробирка, лошадь или башмак. Сам я,— рассмеялся он,— занимался любовью с мухами. Я знал солдата морской пехоты, который жил с утками. Он засовывал ее голову в ящик, крепко

брался за лапки и наяривал». Рассеянно ущипнув Люсьена за ухо, Бержер заключил: «Утка от этого умирала, и ее съедали солдаты». У Люсьена после таких разговоров голова шла кругом, он думал, что Бержер — гений, но по ночам он часто просыпался весь в поту, с головой, полной жутких и гнусных видений, и он спрашивал себя, оказывает ли на него Бержер благотворное влияние. «Я один! — стонал он, заламывая руки. — У меня нет никого, кто мог бы дать мне совет, сказать, на правильном ли я пути!» А если он пойдет до конца, если по-настоящему будет культивировать расстройство всех чувств, не уйдет ли у него почва из-под ног, не погибнет ли он? Как-то, слушая долгий рассказ Бержера об Анри Бретоне, Люсьен прошептал, словно во сне: «Хорошо, но если после этого я уже не смогу вернуться назад?» Бержер подскочил: «Вернуться назад! Кто же говорит о том, чтобы возвращаться назад? Если вы сойдете с ума, тем лучше. После, как говорит Рембо, «придут другие страшные работники». «Именно так я и думал», — печально вздохнул Люсьен. Он заметил, что эти долгие беседы имели результат, противоположный тому, какого желал Бержер; едва Люсьен ловил себя на том, что испытывает более утонченное ощущение, необычное впечатление, его тотчас же бросало в дрожь. «Вот оно, начинается», — думал он. С некоторых пор ему очень хотелось бы испытывать лишь банальные и грубые переживания; и лишь по вечерам в обществе своих родителей он чувствовал себя легко: они были его прибежищем. Они говорили о Бриане, о злой воле немцев, о родах кузины Жанны и о цене жизни; Люсьен с наслаждением обменивался с ними суждениями, исполненными грубого здравого смысла. Однажды, войдя к себе в комнату по возвращении от Бержера, он машинально закрыл дверь на ключ и задвинул засов. Осознав свой жест, он заставил себя

улыбнуться, но всю ночь не мог уснуть: он понял, что ему страшно.

Однако ни за что на свете он не отказался бы от встреч с Бержером. «Он меня очаровывает»,— думал Люсьен. К тому же он очень дорожил той деликатной и необычной дружбой, которую Бержер сумел установить между ними. Не изменяя своему мужественному и почти грубому стилю, Бержер обладал искусством дать Люсьену почувствовать и, так сказать, физически ощутить его нежность: например, он поправлял ему узел галстука, ворчливо браня Люсьена за то, что он так безвкусно одевается; он расчесывал ему волосы золотым гребнем из Камбоджи. Он раскрыл Люсьену его собственное тело, объяснив ему жестокую и волнующую красоту юности. «Вы Рембо,— говорил он ему,— у него были ваши большие руки, когда он приехал в Париж, чтобы увидеть Варлена, такое же, как у вас, розовое лицо молодого здорового крестьянина и длинное, хрупкое тело, как у белокурой девочки». Он заставил Люсьена снять воротничок и расстегнуть рубашку, потом подвел его, совсем сконфуженного, к зеркалу и восхищался прелестной гармонией его румяных щек и белой шеи; тут он слегка погладил рукой бедро Люсьена и печально вздохнул: «И мы убьем себя в двадцать лет». Теперь Люсьен часто смотрел на себя в зеркало и научился наслаждаться своей угловатой юношеской грацией. «Я Рембо»,— думал он вечером, снимая с себя одежду жестами, полными нежности, и начинал верить, что ему будет отпущена короткая и трагическая жизнь слишком прекрасного цветка. В такие минуты ему казалось, что он уже давным-давно испытывал подобные ощущения, и в памяти всплывала нелепая картинка: он видел себя совсем маленьким, в длинном голубом платье с крылышками ангелочка, раздающим цветочки на благотворительной распродаже. Он разгляды-

вал свои длинные ноги. «А правда ли, что у меня такая нежная кожа?» — лукаво думал он. И однажды он провел губами по руке — от запястья и до локтевого сгиба — вдоль тоненькой очаровательной голубой жилки.

Зайдя как-то к Бержеру, Люсьен был неприятно удивлен: он увидел Берлиака, который был занят тем, что отрезал ножом кусочки какого-то черноватого вещества, с виду напоминавшего комок земли. Молодые люди не виделись уже дней десять, они холодно пожали друг другу руки. «Смотри,— сказал Берлиак,— это гашиш. Мы набьем его в трубки между двумя слоями светлого табака, действует обалденно. Тут и тебе хватит»,— добавил он. «Спасибо,— сказал Люсьен,— я не хочу». Бержер и Берлиак рассмеялись, но Берлиак продолжал уговаривать, ехидно на него глядя: «Не будь идиотом, старик, попробуй, ты представить себе не можешь, как это приятно».— «Отстань, не хочу!» — воскликнул Люсьен. Помолчав, Берлиак ограничился высокомерной улыбкой, и Люсьен заметил, что Бержер тоже улыбался. Топнув ногой, он кричал. «Я не желаю, не хочу губить свое здоровье, я считаю глупым прибегать к этим штучкам, которые превращают людей в скотов». Это вырвалось невольно, но, когда до него дошел смысл сказанного и он представил себе, что мог подумать о нем Бержер, ему захотелось убить Берлиака, и слезы навернулись на глаза. «Ты буржуа,— сказал Берлиак, пожав плечами,— ты притворяешься, будто плывешь, но ты страшно боишься оторваться от дна».— «Я не хочу привыкать к наркотикам,— ответил Люсьен более спокойно,— это такое же рабство, как и любое другое, а я хочу быть свободным».— «Скажи лучше, что боишься попробовать»,— грубо возразил Берлиак. Люсьен уже собрался влить ему пару пощечин, как вдруг услышал властный голос Бержера: «Оставь его,

Шарль. Он прав. Его боязнь попробовать тоже от смятения». Они курили, растянувшись на диване, и запах армянской бумаги распространялся по комнате. Люсьен сидел на красном бархатном пуфе и молча наблюдал за ними. Наконец Берлиак откинул назад голову и заморгал, улыбаясь слюнявой улыбкой. Люсьен чувствовал себя униженным и смотрел на него со злостью. Наконец Берлиак поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты; все это время на его губах блуждала какая-то странная, сонная и похотливая улыбка. «Дайте мне трубку»,— хрипло попросил Люсьен. Бержер рассмеялся. «Не стоит,— сказал он.— Не обращай внимания на Берлика. Знаешь, что с ним сейчас происходит?» — «А мне плевать»,— сказал Люсьен. «Так вот, знай, что его рвет,— спокойно сказал Бержер.— Гашиш никогда не оказывал на него иного действия. Все прочее — это лишь комедия, но я иногда даю ему покурить, потому что ему хочется пофорсить передо мной, а меня это забавляет». На следующий день Берлиак явился в лицей, он решил обращаться с Люсьеном свысока: «Ты садишься в поезд, но заботливо отбираешь тех, кого оставляешь на вокзале». Но он не на того напал. «А ты балаганный зазывала,— ответил ему Люсьен,— думаешь, я не знаю, что ты делал вчера в ванной? Ты блевал, старик!» Берлиак побледнел: «Это Бержер тебе сказал?» — «А кто еще, по-твоему?» — «Хорошо,— пробормотал Берлиак,— хотя я не думал, что Бержер из тех, кто плюет на старых друзей ради новых». Люсьен слегка забеспокоился: он ведь обещал Бержеру ничего не рассказывать. «Брось, все хорошо! — сказал он.— Вовсе он на тебя не плюет, он просто хотел доказать мне, что гашиш тебя не берет». Но Берлиак повернулся и ушел, даже не подав ему руки. Люсьен был не слишком собой доволен, когда вновь встретился с Бержером. «Что вы сказали Берлиаку?» —

с безразличным видом спросил Бержер. Люсьен опустил голову и молчал: он был удручен. Но вдруг он ощутил руку Бержера на затылке: «Это неважно, малыш. В любом случае этому уже пора было кончиться: комедианты никогда не веселят меня долго». Люсьен немного осмелел: он поднял голову и улыбнулся. «Но ведь и я комедиант»,— сказал он, часто моргая. «Да, но ты — ты хорошенький»,— ответил Бержер, привлекая его к себе. Люсьен покорился; он чувствовал себя нежным, как девушка, и слезы выступили у него на глазах. Бержер целовал его в щеки и покусывал ему ухо, называя то «миленьким проказником», то «маленьким братишкой», а Люсьен думал, что очень приятно иметь старшего брата, такого терпимого и все понимающего.

Господин и госпожа Флерье выразили желание познакомиться с Бержером, о котором Люсьен так много им рассказывал, и пригласили его на обед. Все нашли его очаровательным, даже Жермена, заявившая, что никогда не встречала такого красавца мужчину; господин Флерье был знаком с генералом Низаном, доводившимся Бержеру дядей, долго говорили о нем. Поэтому госпожа Флерье с большой радостью согласилась отпустить Люсьена с Бержером на каникулы в дни Святой Троицы. Они приехали в Руан на автомобиле; Люсьен хотел осмотреть собор и ратушу, но Бержер категорически отказался. «Ты хочешь смотреть эту дрянь?» — вызывающе спросил он. В конце концов они провели два часа в борделе на улице Корделье; Бержер без конца хохмил: он называл всех девочек «мадемуазель», под столом толкая Люсьена коленом, потом согласился подняться с одной из них в номер, но через пять минут вернулся. «Чешем отсюда,— прошептал он,— сейчас тут такой хай будет». Они быстро расплатились и ушли. На улице Бержер рассказал, что

же произошло: воспользовавшись тем, что женщина повернулась к нему спиной, он бросил в постель целую горсть волос, вызывающих зуд, потом объявил, что он импотент, и сошел вниз. Люсьен выпил два стакана виски и немного поплыл; он спел «*Артиллериста из Метца*» и «*De Profundis Morpionibus*»; он находил восхитительным, что Бержер мог быть и таким умным, и таким ребячливым.

«Я заказал один номер,— сказал Бержер, когда они пришли в отель,— но с большой ванной». Люсьен не удивился: в дороге он смутно догадывался, что ему придется делить комнату с Бержером, но на этой мысли он почему-то не задерживался. Теперь, когда отступить уже было некуда, он счел все это не совсем приятным, главным образом потому, что ноги у него были не совсем чистые. Пока поднимали чемоданы, он представлял себе, как Бержер скажет: «Ну и грязен ты, все простыни изгаздаешь», а он дерзко ответит: «У вас весьма мешанские представления о чистоте». Но Бержер втокнул его в ванную вместе с чемоданом, сказав: «Приведи себя в порядок здесь, а я разденусь в комнате». Люсьен вымыл ноги и подмыл зад. Ему захотелось в туалет, но не решился выйти и помочился в раковину; потом надел ночную рубашку, домашние туфли, которые одолжил у матери (его собственные совсем сносились), и постучал. «Вы готовы?» — спросил он. «Да, да, входи», — Бержер был в черном халате накинутом на светло-голубую пижаму. В комнате пахло одеколоном. «Здесь только одна кровать?» — спросил Люсьен. Бержер не ответил: он ошалело уставился на Люсьена. И наконец громко расхохотался. «Ты что, в одной рубахе? — рассмеялся он. — А куда ночной колпак дел? Ну нет, ты меня уморишь. Я хочу, чтоб ты посмотрел на себя». — «Уже два года,— обиженно сказал Люсьен,— я прошу мать купить мне пижаму».

Бержер подошел к нему: «Ладно, снимай все это, — сказал он тоном, не терпящим возражений, — я дам тебе одну из моих. Тебе она великовата, но лучше же, чем это». Люсьен стоял как вкопанный посреди комнаты, не сводя глаз с красных и зеленых ромбов на обоях. Он предпочел бы вернуться в ванную, но боялся сойти за дурака; резким движением он снял через голову рубашку. На мгновение воцарилась тишина: Бержер, улыбаясь, смотрел на Люсьена, и до того вдруг дошло, что он стоит посреди комнаты нагишом, в материнских тапочках с помпончиками. Он смотрел на свои руки — большие руки Рембо, ему хотелось прижать их к животу, хотя бы прикрыть свой срам. Но, спохватившись, храбро убрал их за спину. На стенах между рядами ромбов были разбросаны редкие фиолетовые квадратики. «Честное слово, — сказал Бержер, — он чист, как девственница, посмотри на себя в зеркало, Люсьен, даже грудь у тебя покраснела. Но так ты лучше смотришься, чем в своей рубахе». — «Да, — сказал Люсьен, делая над собой усилие, — если ты нагишом, трудно сохранять пристойный вид. Дайте-ка мне пижаму». Бержер швырнул ему шелковую, пахнущую лавандой пижаму, и они легли в кровать. Воцарилось тягостное молчание. «Мне плохо, — сказал Люсьен, — меня тошнит». Бержер молчал, отрыжка Люсьена пахла виски. «Он переспит со мной», — решил он. И ромбы на обоях закружились, а удушливый запах одеколона сдавливал ему горло. «Я не должен был соглашаться на эту поездку». Ему не повезло; раз двадцать в последнее время он был на волосок от того, чтобы понять, чего хотел от него Бержер, и всякий раз, как нарочно, какая-нибудь случайность отвлекала Люсьена от этих мыслей. А теперь вот он лежал в постели с этим типом и ждал, что тому захочется с ним сделать. «Я возьму подушку и пойду спать в ванную». Но он не осмелился:

он подумал об ироническом взгляде Бержера. Люсьен засмеялся. «Я думаю о той проститутке,— сказал он,— она, наверно, до сих пор чешется». Бержер по-прежнему молчал; Люсьен наблюдал за ним краешком глаза: тот лежал на спине с беспечным видом, заложив руки за голову. Дикая ярость охватила Люсьена, он приподнялся на локте и спросил: «Ну и чего вы ждете? Вы что, привезли меня сюда, чтобы заниматься пустяками?»

Но он не успел пожалеть о своей фразе; Бержер повернулся и взглянул на него с веселым удивлением: «Посмотрите-ка на эту постаскушку с личиком ангела. Постой, малыш, я тебя ни о чем не просил; ты сам считаешь на меня, чтобы я расстроил твои жалкие чувства». Он смотрел на него с минуту — лица их почти соприкасались,— потом обнял Люсьена и стал гладить под пижамой его грудь. Это не было неприятно, лишь слегка щекотно, но Бержер был страшен: лицо его приняло идиотское выражение, и он хрипло повторял: «Стыда у тебя нет, свинюшка, стыда у тебя нет, свинюшка!» — словно звукозапись, которая сообщает на вокзалах об отправлении поездов. Рука Бержера, напротив, казалась резвой и легкой, почти одушевленной. Она нежно касалась сосков Люсьена: так ласкает теплая вода, когда садишься в ванну. Люсьену хотелось бы схватить эту руку, оторвать ее от себя, но Бержер лишь рассмеялся бы: «Тоже мне девочка». Рука медленно сползла по его животу и задержалась, развязывая пояс, на котором держались пижамные брюки. Люсьен не противился: он отяжелел и обмяк, словно мокрая губка, и испытывал жуткий страх. Бержер отбросил одеяло, положил голову на грудь Люсьену, как будто хотел прослушать его. Люсьен два раза рыгнул, во рту стало кисло, он боялся, что его стошнит прямо на эти красивые седые волосы, которые выглядели так

благопристойно. «Вы давите мне на желудок»,— сказал он. Бержер чуть приподнялся и просунул руку Люсьену за спину; другая рука больше не ласкала его, она трепала его. «У тебя хорошенькая попочка»,— вдруг сказал Бержер. Люсьену казалось, что ему снится кошмар. «Вам нравится?» — кокетливо спросил он. Но Бержер вдруг отпустил его и с досадой поднял голову. «Чертов маленький обманщик,— вскричал он в ярости,— хочет корчить из себя Рембо, а я больше часа корячусь тут с ним, а он лежит, как полено». Слезы бессилия выступили на глазах у Люсьена, и он изо всех сил оттолкнул Бержера. «Я не виноват,— сипло сказал он,— вы меня напоили, меня тошнит». — «Ну ладно, иди, поблужай,— сказал Бержер,— и не спеши». Затем процедил сквозь зубы: «Хорош вечерок!» Люсьен подтянул пижамные брюки, накинул черный халат и вышел. Заперев дверь туалета, он почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что навзрыд заплакал. Платка в кармане халата не оказалось, он вытер глаза и нос туалетной бумагой. Тщетно он пытался засунуть два пальца как можно глубже в рот, его так и не вырвало. Он машинально спустил брюки и, дрожа от холода, сел на унитаз. «Подлец,— думал он,— подлец!» Он был жестоко унижен, но не мог понять, чего он стыдился больше — того, что терпел ласки Бержера, или того, что они его ничуть не возбудили. Из коридора с другой стороны двери доносилось легкое поскрипывание, и при каждом звуке Люсьен вздрагивал, но он не решался вернуться в комнату. «И все же надо идти,— думал он,— надо, иначе он уйдет от меня... к Берлиаку!» Он уже привстал, но сразу же перед ним снова возникло лицо Бержера, с глупым видом повторяющего: «Стыда у тебя нет, свинюшка!» Он в отчаянии вновь рухнул на унитаз. Но вот наконец его страшно пронесло, что несколько успокоило Люсьена. «Все

вышло снизу,— думал он,— так для меня даже лучше». И действительно, тошнота прошла. «Он сделает мне больно»,— вдруг подумал он, и ему почудилось, что сейчас он упадет в обморок. В конце концов Люсьен так продрог, что громко лязгал зубами; он подумал, что может простудиться, и поспешно встал. Когда он вернулся в комнату, Бержер встретил его каким-то скованным взглядом; он курил сигарету, пижама его была расстегнута, и был виден его худой торс. Медленно сняв халат и туфли, не сказав ни слова, Люсьен скользнул под одеяло. «Порядок?» — спросил Бержер. Люсьен пожал плечами: «Я замерз!» — «Ты хочешь, чтобы я тебя согрел?» — «Попробуйте»,— предложил Люсьен. И в это мгновение почувствовал, как его расплющивает огромная тяжесть. Мягкий и влажный, как сырой бифштекс, рот приклеился к его губам. Люсьен ничего уже не понимал, не соображал, где находится, и с трудом дышал, но ему было приятно, потому что он согревался. Он вспомнил госпожу Бесс, которая, нажимая ему рукой на животик, называла его «куколкой», и Эбрара, прозавшего его «длинной спаржей», и о том, как он мылся по утрам в тазу, представляя себе, что господин Буфардье войдет с минуты на минуту, чтобы подмыть его, и сказал себе: «Я куколка!» В это мгновенье Бержер издал торжествующий крик. «Наконец-то ты решился! Сейчас,— сопя, прибавил он,— мы с тобой кое-чем займемся». Люсьен сам снял пижаму.

Назавтра они проснулись в полдень. Гарсон принес им завтрак в постель; Люсьену показалось, что у него надменный вид. «Он принимает меня за педика»,— подумал он, вздрогнув от огорчения. Бержер был очень любезен: он оделся первым и вышел покурить на площадь Вье-Марше, пока Люсьен принимал ванну. «В сущности,— думал Люсьен, старательно растирая

тело банной перчаткой,— все это скучно». Первый страх прошел, и, когда он убедился, что это не так больно, как ему казалось, он погрузился в глубокое уныние. Он надеялся, что все это позади и он сможет поспать, но Бержер не оставлял его в покое до четырех часов утра. «Мне все-таки надо будет решить мою задачу по тригонометрии»,— сказал он себе. И старался больше не думать ни о чем, кроме своей работы. День был долгим. Бержер рассказывал ему о жизни Лотреамона, но Люсьен слушал его не очень внимательно; Бержер слегка раздражал его. На ночь они остановились в Кодебеке, и Бержер долго донимал Люсьена своими ласками, но около часа Люсьен решительно объявил, что хочет спать, и тот, совсем не обидевшись, дал ему уснуть. К вечеру они уже были в Париже. В общем, Люсьен остался собой доволен.

Родители встретили Люсьена с распростертыми объятиями. «Ты хоть поблагодарил как следует господина Бержера?» — спросила мать. Поболтав с ними немного о нормандских равнинах, он рано лег спать. Спал он, как ангел, но, проснувшись, почувствовал, что внутри у него все дрожит. Он встал и долго разглядывал себя в зеркале. «Я — педераст»,— сказал он себе. И что-то в нем надломилось. «Люсьен, вставай,— послышался за дверью голос матери,— тебе сегодня в лицей». — «Да, мама»,— послушно ответил Люсьен, но присел на постель и стал рассматривать большие пальцы на ногах. «Это несправедливо, я не отдавал себе отчета, я... у меня не было опыта». Эти пальцы сосал мужчина; Люсьен в ярости отвернулся: «Он-то все знал. То, что он заставлял меня делать, имеет название — это называется спать с мужчиной, и он знал это». Странно — Люсьен горько усмехнулся — можно было целыми днями терзаться вопросами, умный ли ты, не зазнайка ли, но так и не прийти к ответам. И наряду с этим существуют

ярлыки, которые в одно прекрасное утро приклеивают вам, и приходится носить их всю жизнь; Люсьен, например, высокий блондин, похож на отца, единственный сын, а со вчерашнего дня — педераст. О нем будут говорить: «Флерье, вы знаете его, тот высокий блондин, которому нравятся мужчины». И люди будут отвечать: «Ах да! Этот педик? Очень хорошо знаю, что он за птица».

Он оделся и вышел, но сердце не лежало идти в лицей. Он спустился по улице Ламбаль к Сене и пошел по набережным. Небо было чистым, улицы пахли свежей листвой, асфальтом и английским табаком. Идеальная погода, чтобы носить свежую одежду на чистом теле с обновленной душой. Все люди выглядели нравственно здоровыми, и только Люсьен чувствовал себя в эту весну подозрительным и странным. «Это роковой путь,— думал он,— начал я с Эдипова комплекса, потом стал садистско-анальным типом, теперь — дальше ехать некуда — педерастом, и куда он меня заведет?» Конечно, в его случае все было еще не так серьезно; он не испытывал большого наслаждения от ласк Бержера. «Ну а если я к этому привыкну? — со страхом думал он.— Я без этого жить больше не смогу, ведь это, как морфий!» Он станет порочным человеком с клеймом, никто больше не пожелает его принимать, рабочие его отца будут смеяться над ним, если он попытается приказать им что-то. Люсьен снисходительно вообразил свою ужасную судьбу. Он видел себя в тридцать пять лет, накрашенного и жеманного, и то, как господин с усами и орденом Почетного Легиона с грозным видом замахивается на него тростью: «Ваше присутствие здесь, мсье,— это оскорбление для моих дочерей». И вдруг он пошатнулся, мгновенно прекратив эту игру: ему вспомнилась одна фраза Бержера. Это было ночью в Кодебеке. Бержер воскликнул: «Скажи-ка! А ты вхо-

дишь во вкус!» Что он имел в виду? Люсьен, разумеется, не был бесчувственным поленом и благодаря любовной возне... «Это ничего не доказывает,— с тревогой убеждал он себя.— Но говорят, что у этих людей необыкновенное чутье на себе подобных, это как шестое чувство». Люсьен долго разглядывал полицейского, который регулировал движение перед Иенским мостом. «Неужели этот полицейский может меня возбудить?» Он смотрел на синие брюки полицейского и представлял себе его мускулистые и волосатые ляжки: «Разве это хоть как-то действует на меня?» И он пошел дальше, слегка успокоившись. «Это не так серьезно,— думал он,— я еще могу спастись. Он злоупотребил моим смятением, но я — не настоящий педераст». Он повторял свой эксперимент со всеми мужчинами, которые шли ему навстречу, и всякий раз результат оказывался отрицательным. «Уф!— вздохнул он.— Хорошо, что я счастливо отделался!» Это было предупреждение, и только. Но повторять этого не следовало, так как дурные привычки легко приобретаются и к тому же ему необходимо срочно излечиться от своих комплексов. Он решил, что тайком от родителей подвергнется психоанализу у специалиста. Потом заведет любовницу и станет нормальным мужчиной.

Люсьен начал успокаиваться, как внезапно вспомнил о Бержере: в это самое мгновение Бержер находится где-то в Париже, очарованный самим собой; голова его была полна воспоминаний: «Он знает мое тело, ему знакомы мои губы, он говорил мне: «У тебя такой запах, что я никогда его не забуду»; хвастаясь перед своими друзьями, он скажет: «Я поймел его», точно я девка какая-то. И, может быть, именно сейчас он рассказывает о своих ночах...— У Люсьена замерло сердце — Берлиаку! Если он сделает это, я убью его; Берлиак меня ненавидит, он расскажет об этом всему

классу, и тогда я пропал, ребята откажутся пожимать мне руку. Я скажу, что это неправда,— иступленно убеждал себя Люсьен,— подам в суд, буду утверждать, что он меня изнасиловал!» Всем своим существом Люсьен ненавидел Бержера: не будь его, не будь этого непристойного и несправедливого сознания, все могло бы уладиться, никто ничего не узнал бы, а сам Люсьен со временем забыл бы об этом. «Если бы он мог внезапно умереть! Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы он умер сегодня ночью, ничего не успев никому рассказать. Господи, сделай так, чтобы вся эта история была похоронена, ты не можешь желать, чтоб я стал педерастом! Во всяком случае, у него на крючке! — в бешенстве думал Люсьен.— Мне придется вернуться к нему, исполнять все его прихоти, да еще говорить, что все это мне нравится, иначе я погиб!» Он прошел еще несколько шагов и из предосторожности прибавил: «Господи, сделай так, чтобы Берлиак тоже умер».

Люсьен не мог набраться смелости вернуться к Бержеру. В течение последующих недель ему чудилось, что он повсюду его встречает, а когда он работал в своей комнате, то вздрагивал при каждом звонке в дверь; по ночам его терзали жуткие кошмары: Бержер насиловал его посреди двора лица Святого Людовика, все «поршни» стояли тут же и, гогоча, за ними наблюдали. Но Бержер не сделал никакой попытки увидеться с ним и не подавал признаков жизни. «Он хотел только моей плоти»,— с обидой думал Люсьен. Берлиак тоже куда-то исчез, и Гигар, который иногда по воскресеньям ходил с ним на скачки, утверждал, что Берлиак покинул Париж вследствие приступа нервной депрессии. Люсьен постепенно успокоился: его поездка в Руан казалась ему смутным и нелепым сном, не имеющим никакого отношения к жизни; почти все ее подробности он уже забыл и помнил только спертый запах

плоти и одеколоне, ощущение невыносимой скуки. Господин Флерье несколько раз спрашивал, куда девался его друг Бержер: «Нам надо пригласить его в Фероль, чтобы поблагодарить». — «Он уехал в Нью-Йорк», — ответил наконец Люсьен. Иногда вместе с Гигаром и его сестрой он катался на лодках по Марне; Гигар научил его танцевать. «Я пробуждаюсь, — думал он, — рождаюсь заново». Но довольно часто он чувствовал какую-то тяжесть в спине, словно мешок давил: это были его комплексы; он спрашивал себя, не следует ли ему поехать к Фрейду в Вену. «Я поеду без денег, если надо, пойду пешком, я скажу ему: у меня нет ни гроша, но я — исключительный случай». Как-то в жаркий июньский день он встретил на бульваре Сен-Мишель Бабуэна, своего старого преподавателя философии. «Ну что, Флерье, — спросил Бабуэн, — готовитесь к Центральной?» — «Да, мсье», — ответил Люсьен. «Вы, — сказал Бабуэн, — могли бы заняться и литературой. Вам легко давалась философия». — «Я и не бросал ее, — сказал Люсьен. — Я кое-что прочел в этом году, Фрейда например. Кстати, — прибавил он, охваченный вдохновением, — я хотел бы спросить вас, мсье, что вы думаете о психоанализе?» Бабуэн рассмеялся. «Это просто мода, — ответил он, — которая скоро пройдет. Все, что есть лучшего у Фрейда, можно найти уже у Платона. Что касается остального, — добавил он не терпящим возражений тоном, — то я заявляю вам, что не верю в эти глупости. Читайте лучше Спинозу». Люсьен почувствовал, как огромный камень свалился у него с души; домой он возвращался пешком, что-то насвистывая. «Это был кошмар, — думал он, — но теперь от него ничего уже не осталось!» Солнце в этот день было резким и жарким, но Люсьен поднял голову и, не мигая, поглядел на него: солнце принадлежало всем, и Люсьен имел право смотреть на него в упор;

он был спасен! «Глупости! — думал он,— это были глупости! Они пытались испортить меня, но я им не дался». Действительно, он всегда оказывал сопротивление: Бержер заморочил ему голову своими разглагольствованиями, но Люсьен, к примеру, сразу же почувствовал, что педерастия Рембо — это порок, а когда эта козявка Берлиак хотел заставить его курить гашиш, он послал его куда подальше. «Я едва не погиб,— думал он,— и меня спасло лишь мое нравственное здоровье!» Вечером, за ужином, он с любовью смотрел на отца. У господина Флерье были широкие плечи, тяжелые и медлительные жесты, как у крестьянина, хотя в нем чувствовалась порода, и серые, металлические и холодные глаза хозяина. «Я похож на него»,— думал Люсьен. Он вспомнил, что Флерье — и деды, и внуки,— целых четыре поколения, были хозяевами фабрик. «Что ни говори, а семья есть семья!» И он с гордостью думал о нравственном здоровье семьи Флерье. Люсьен решил не поступать в этом году в Центральную Школу, и Флерье очень рано отправились в Фероль. Люсьен с восторгом вновь обрел дом, сад, завод, маленький городок, такой спокойный и безмятежный. Это был другой мир, он решил рано вставать и совершать долгие прогулки по окрестностям. «Я хочу,— сказал он отцу,— надышаться чистым воздухом и запастись здоровьем на будущий год, перед тем как впрячься в работу». Он вместе с матерью нанес визит семействам Буфардые и Бесс, и все сочли, что он стал взрослым юношей, разумным и степенным. Эбрар и Винкельман, изучавшие право в Париже, тоже приехали на каникулы в Фероль. Люсьен проводил время вместе с ними, и они вспоминали, как разыгрывали аббата Жакмара, чудесные прогулки на велосипедах и пели на три голоса «*Артиллериста из Метца*». Люсьену очень пришлось по душе грубоватая искренность и основательность его старых

друзей, и он упрекал себя в том, что забыл о них. Он признался Эбнару, что терпеть не может Париж, но Эббар не мог этого понять: родители отдали его на попечение какому-то аббату, который глаз с него не спускал; Эббар был ошарашен посещением Лувра и вечером, проведенным в Опере. Такая простота умилила Люсьена; он чувствовал себя старшим братом Эббара и Винкельмана и начинал внушать себе, что он не жалеет о своей такой мучительной прошлой жизни: ведь он приобрел опыт. Он рассказал им о Фрейде и психоанализе, немного забавляясь тем, что сильно их шокировал. Они резко критиковали теорию комплексов, но их возражения были наивными, что Люсьен им и доказал, добавив, кстати, при этом, что с философской точки зрения очень легко можно разоблачить все ошибки Фрейда. Они восхищались им, но Люсьен делал вид, что не замечает этого.

Господин Флерье объяснил Люсьену, как функционирует завод. Он обошел с ним основные корпуса, и Люсьен долго наблюдал, чем занимаются рабочие. «Когда я умру,— сказал господин Флерье,— ты должен будешь быстро взять на себя все управление заводом». Люсьен пожурил его и попросил: «Папа, дорогой мой, не говори, пожалуйста, об этом!» Но в последующие дни он был очень серьезным, думая об ответственности, которая рано или поздно должна лечь на его плечи. Они подолгу беседовали об обязанностях патрона, и господин Флерье доказал ему, что собственность — это не право, а обязанность. «Они морочат нам голову своей борьбой классов,— сказал он,— как будто интересы хозяев и рабочих противоположны! Возьми мой случай, меня, Люсьен. Я мелкий хозяин, тот, кого на парижском жаргоне называют «лавочник». Пусть так, но у меня на руках сто рабочих с семьями. Если дела у меня идут хорошо, то прежде всего это выгодно им. Если же я буду вы-

нужден закрыть завод, все они окажутся на улице. *Я не имею права* плохо вести дела,— сказал он с силой.— Именно это я и называю классовой солидарностью».

Более трех недель все шло хорошо; он почти не вспоминал о Бержере, он его простил и надеялся на то, что никогда в жизни больше его не увидит. Иногда, меняя рубашку, Люсьен подходил к зеркалу и с удивлением смотрел на себя. «Мужчина желал это тело»,— думал он. Он медленно проводил руками по бедрам и думал: «Мужчину волновали эти ноги». Он брал себя за талию и жалел о том, что он не может раздвоиться так, чтобы тот, другой, мог ласково гладить его тело, как шелковую ткань. Подчас он сожалел о своих комплексах: они были прочными, весомыми, их огромная темная масса утяжеляла его. Теперь с этим покончено, Люсьен больше не верил в них и ощущал какую-то мучительную легкость. Впрочем, это не было так уж неприятно, это скорее было некое, вполне терпимое, хотя и немного противное, разочарование, которое в крайнем случае могло сойти за скуку. «Я ничто,— думал он,— но это потому, что ничего меня не запачкало. А вот Берлиак погряз в пороках. Я вполне могу вынести эту слабую неуверенность: это плата за чистоту».

Как-то на прогулке он присел на холмик и подумал: «Я проспал шесть лет, а потом в один прекрасный день вылутился из своей скорлупы». Он был полон жизни и с радостным видом оглядывал пейзаж. «Я создан для действия!» — сказал он себе. Но в одну секунду его тщеславные мысли потускнели. Он произнес вполголоса: «Пусть они немного подождут и увидят, чего я стою». Он говорил с уверенностью, но слова отскакивали от него, как пустые скорлупки. «Что у меня есть?» Он *не хотел* признавать этой странной тревоги, она принесла ему слишком много страданий

в прошлом. «Есть эта тишина... эта земля...» — подумал он. Вокруг ни души, только кузнечики, которые с трудом волочат по пыли свои желто-черные брюшки. Люсьен ненавидел кузнечиков, потому что они всегда казались полудохлыми. По ту сторону дороги к самой реке сползала сероватая, изможденная солнцем, потрескавшаяся песчаная равнина. Никто не видел и не слышал Люсьена; он вскочил, и ему померещилось, что его движениям ничто не мешает, даже сила притяжения. Сейчас он стоял во весь рост под занавесом серых облаков, и казалось, будто он существует в пустоте. «Эта тишина...» — думал он. Это было большее, чем тишина, это было ничто. Равнина вокруг Люсьена была необыкновенно спокойная и инертная, бесчеловечная. Казалось, что она съежилась и затаила дыхание, чтобы не беспокоить его. «Когда артиллерист из Метца вернулся в гарнизон...» Звук на губах погас, как пламя в пустоте; Люсьен без тени и эха был один среди этой слишком неприметной, какой-то невесомой природы. Он встрепетнулся и попытался восстановить ход своих рассуждений: «Я создан для действия. Во-первых, меня не сломить: я, конечно, могу делать глупости, но это не имеет больших последствий, потому что я умею взять себя в руки». Он подумал: «У меня есть нравственное здоровье». Однако он замолчал, скорчив гримасу отвращения, настолько нелепым показалось ему рассуждать о «нравственном здоровье» на этой выжженной добела дороге, которую переползали подышающие насекомые. Взбешенный, Люсьен наступил на кузнечика; он ощутил под подошвой крохотный упругий шарик, а когда поднял ногу, кузнечик еще шевелился. Люсьен плюнул на него: «Я в смятенье. Как и в прошлом году». Он стал думать о Винкельмане, который называл его «козырным тузом», о господине Флерье, который относился к нему как к мужчине, о госпоже Бесс, что сказала ему:

«И этого парня я называла когда-то куколкой, а теперь не осмелюсь даже назвать его на ты, так он меня пугает». Но они были далеко, очень далеко, и ему казалось, что настоящий Люсьен исчез, а осталось лишь его какое-то бледное и растерянное подобие. «Кто же я?» Километры и километры песчаной равнины, плоской, потрескавшейся почвы, без травы, без запахов, и вдруг откуда-то из этой сероватой корки торчит спаржа, такая странная здесь, что у нее даже нет тени. «Кто же я?» Вопрос остался тем же с прошлогодних каникул, казалось, он поднимал Люсьена на том месте, где он его оставил; или, точнее, это был не вопрос, а состояние души. Люсьен пожал плечами. «Я слишком сложный,— подумал он,— и чересчур копаюсь в себе».

В последующие дни он попытался больше заниматься самоанализом: он хотел, чтобы его завораживали вещи, и подолгу рассматривал подставку для яиц, кольца для салфеток, дерева, витрины; он очень польстил матери, попросив ее показать ему столовое серебро. Но, пока он разглядывал серебро, он думал о том, что разглядывает серебро, а где-то, позади его взгляда, трепетало живое облачко тумана. И напрасно Люсьен погружался в разговор с господином Флерье, этот густой и стойкий туман, чья непроницаемая невесомость обманчиво напоминала свет, скользил *позади* внимания, с которым Люсьен вслушивался в слова отца; этим туманом был сам Люсьен. Время от времени Люсьен с раздражением переставал слушать и оборачивался, пытаясь схватить этот туман и в упор взглянуть на него; но перед ним была пустота, а туман опять оказывался *позади*.

Жермена в слезах прибежала к госпоже Флерье: ее брат заболел бронхопневмонией. «Бедная моя Жермена,— сказала госпожа Флерье,— вы же всегда говорили, что он такой крепкий!» Она дала ей отпущк

на месяц, а вместо нее взяла дочь одного рабочего с завода отца — семнадцатилетнюю Берту Мозель. Это была малышка с белокурыми косами, которые она венком укладывала на голове, она слегка прихрамывала. Поскольку она была родом из Конкарно, госпожа Флерье попросила ее носить кружевной чепец: «Так будет гораздо изящнее». С первых же дней, когда она видела Люсьена, в ее больших голубых глазах отражалось робкое и страстное восхищение, и он понял, что она его обожает. Обращался он к ней запросто и часто спрашивал: «Вам у нас нравится?» В коридорах он забавы ради старался сталкиваться с ней, чтобы посмотреть, какое впечатление это на нее производит. Но она вызывала в нем чувство нежности, и он черпал в этой любви драгоценную моральную поддержку; он часто без волнения думал, каким он видится Берте. «Я ведь совсем не похож на тех молодых рабочих, с кем она водится». Под каким-то предлогом он заманил Винкельмана в людскую, и тот нашел, что она девочка хоть куда. «Ты везунок, — заключил он, — на твоём месте я бы ее трахнул». Но Люсьен не решался: от нее пахло потом, а ее черная блузка под мышками была в грязных подтеках. Одним дождливым сентябрьским днем госпожа Флерье уехала на автомобиле в Париж и Люсьен остался один в своей комнате. Он прилег на постель и принялся зевать. Ему казалось, что он капризное и летучее облако, и неизменное, и переменчивое, чьи края вечно размыты в воздухе. «Я задаю себе вопрос: почему существую?» Вот он лежит в комнате, переваривает пищу, зевает, слышит, как по стеклам барабанит дождь, в голове у него ключья белого тумана, ну а что дальше? Его существование было скандалом бытия, и вся ответственность, которую он позднее возьмет на себя, едва ли оправдает это существование. «В конце концов, я не просил, чтобы меня родили», — сказал он себе. И он

испытал прилив жалости к самому себе. Ему вспомнились его детские страхи, его долгая дремота, но теперь они представились ему в совершенно новом свете: в сущности, его всегда затрудняла жизнь, этот громоздкий и бесполезный подарок, который он держал в руках, не зная, как с ним быть и куда поставить. «Я потратил свое время на сожаления о том, что родился на свет». Однако он был в слишком угнетенном состоянии, чтобы развивать дальше свои мысли; он встал, закурил сигарету и сошел в кухню — попросить БERTУ сделать ему чай.

Она не заметила, как он вошел. Он тронул ее за плечо, и она резко вздрогнула. «Я вас напугал?» — спросил он. Она с испуганным видом смотрела на него, опершись обеими руками о стол, и грудь ее вздымалась; наконец она улыбнулась и ответила: «Это меня ошеломило, я не думала, что здесь кто-то есть». Люсьен снисходительно улыбнулся в ответ и сказал: «Вы были бы весьма любезны, если бы приготовили мне чашечку чая». — «Сию минуту, мсье Люсьен», — ответила малютка БЕРТА и бросилась к плите; появление Люсьена явно тяготило ее. Люсьен в нерешительности стоял на пороге. «Ну так как же, — отечески спросил он, — нравится вам у нас?» БЕРТА стояла к нему спиной и наливала из-под крана чайник. Шум воды заглушил ее ответ. Люсьен немного подождал, а когда она поставила чайник на газовую плиту, спросил: «Вы курите?» — «Иногда», — с недоверием ответила она. Он раскрыл пачку «Кравена» и протянул ей. Он был не совсем собой доволен: ему казалось, что он окажется в ложном положении; ему не следовало бы заставлять ее курить. «Вам угодно, чтобы я закурила?» — спросила она удивленно. «Почему бы и нет?» — «Госпожа меня заругает». У Люсьена появилось неприятное чувство соучастия в чем-то недостойном. Он засмеялся и сказал: «А мы ей не скажем». БЕРТА покраснела, кончиками пальцев взяла

сигарету и воткнула ее в рот. «Должен я предложить ей огня? Нет, это будет неучтиво». Он спросил: «А что, прикуривать вы не будете?» Она его раздражала: она стояла перед ним с негнующимися руками, покрасневшая и покорная, а в ее сложенных бантиком губках торчала сигарета; можно было подумать, что она вставила в рот градусник. Наконец она взяла из жестяной коробки спичку, чиркнула ее, прищунив глаза, сделала несколько затяжек и сказала: «Мягкие», потом резко вынула сигарету изо рта и неуклюже зажала ее в ладони. «Она прирожденная жертва», — подумал Люсьен. Однако она немного оттаяла, когда он спросил, любит ли она родную Бретань, рассказала ему о разных видах бретонских чепцов и даже спела нежным, но фальшивым голоском какую-то нормандскую песенку. Люсьен над ней подтрунивал вежливо, но она шуток не понимала и смотрела букой; в эту минуту она была похожа на крольчиху. Он сидел на табуретке и чувствовал себя совсем непринужденно. «Садитесь же», — предложил он. «Ой, что вы, мсье Люсьен, я не могу сидеть при вас, мсье Люсьен». Он взял ее под мышки и усадил к себе на колени. «Так лучше?» — спросил он. Она не сопротивлялась, с забавным акцентом лепеча: «Сидеть у вас на коленях!» — и глядя на него с восторженным и укоризненным видом, а Люсьен тем временем с досадой думал: «Я действую слишком смело, мне не следовало бы заходить так далеко». Он молчал; она сидела у него на коленях, такая теплая и притихшая, хотя Люсьен слышал, как колотится ее сердце. «Она — моя вещь, — думал он, — я могу сделать с ней все, что пожелаю». Он отпустил ее, взял чайник и поднялся к себе в комнату — Берта даже пальцем не пошевелила, чтобы его удержать. Прежде чем приступить к чаю, Люсьен тщательно, ароматизированным мылом матери вымыл руки, которые пахли подмышками.

«Неужели я пересплю с ней?» В последующие дни Люсьен был очень поглощен этой маленькой задачей. Берта постоянно вертелась у него под ногами и смотрела на него большими грустными глазами спаниеля. Нравственность взяла свое: Люсьен понял, что она рискует от него забеременеть, так как он не был достаточно опытен в этих делах (купить же в Фероне презервативы было невозможно, его тут все знали), что это принесет большие неприятности господину Флерье. Он также убедил себя в том, что позднее он будет пользоваться на заводе меньшим авторитетом, если дочь одного из его рабочих сможет хвастаться тем, что спала с хозяином. «Я не имею права ее трогать». Все последние дни сентября он избегал оставаться наедине с Бертой. «Ну, чего же ты ждешь?» — спрашивал Винкельман. «Ничего,— сухо отвечал Люсьен.— Шашни со служанкой не для меня». Винкельман, который впервые слышал про «шашни со служанкой», лишь присвистнул от удивления и умолк.

Люсьен был вполне удовлетворен собой: он повел себя как воспитанный мужчина, и это искупало многие его ошибки. «Она была на все готова», — говорил он себе не без грусти. Но, поразмыслив немного, решил: «Это все равно, как если бы я ее поймел,— она предлагала мне себя, а я ее отверг». И отныне Люсьен стал считать, что он уже не девственник. Эти мелкие удовольствия несколько дней занимали его, потом и они тоже растворились в тумане. Вернувшись в октябре домой, он чувствовал себя таким же мрачным, как и в начале прошлого учебного года.

Берлиак в лицей не вернулся, и никто о нем ничего не знал. Люсьен увидел в классе много новых незнакомых лиц: его сосед справа, по фамилии Лемордан, проучился год в математической школе в Пуатье. Он был выше ростом даже Люсьена, а его черные усы при-

давали ему вид вполне взрослого мужчины. Люсьен без удовольствия встретился со своими товарищами: они казались ему ребячливыми и наивно шумными, семинаристами одним словом. Он еще участвовал в их коллективных выходках, но с некоторой ленцой, что, впрочем, ему позволялось, как «старик». Лемордан заинтересовал его гораздо больше, потому что в нем чувствовалась зрелость, но, в отличие от Люсьена, не казалось, что он обрел эту зрелость благодаря множеству трудных испытаний; он был взрослым от рождения. Люсьен часто с наслаждением любовался этой массивной головой с задумчивым лицом, как-то криво посаженной прямо на плечи, а не на шею, казалось, что в эту голову никогда ничего не могло проникнуть ни через уши, ни через узкие, как у китайца, красноватые и застывшие глазки. «Это человек, у которого есть убеждения», — с уважением думал Люсьен и не без зависти спрашивал себя, какова та опора, на которой зиждется у Лемордана абсолютное чувство собственного достоинства. «Вот кем я должен стать — скалой». Тем не менее он был немного удивлен, что Лемордан был способен воспринимать математические доказательства, но мсье Юссон успокоил его, когда вернул им их первые контрольные работы: Люсьен был седьмым, а Лемордан, получив оценку «пять», оказался в списке семьдесят восьмым; все стало на свои места. Лемордана и это не взволновало; похоже, он ожидал худшего, и его крошечный ротик, смуглые и гладкие полные щеки не были созданы для выражения каких-либо чувств: он был спокоен, как Будда. Разгневанным его видели лишь однажды — в тот день, когда Леви толкнул его в гардеробной. Сперва он, часто заморгав, раз десять громко хрюкнул. Потом заорал: «В Польшу! Убирайся в Польшу, грязный жиденыш, и не смей быть нахалом в нашем доме!» Он был выше Леви на две головы, а его мощный

торс покачивался на длинных ногах. В итоге он отвесил ему пару оплеух, а маленький Леви принес свои извинения — на этом все и закончилось.

По четвергам Люсьен с Гигаром отправлялись танцевать к подружкам его сестры. Но Гигар вдруг сознался, что это скаканье ему надоело. «У меня есть подружка, — признался он, — она работает старшей продавщицей у Плинье на рю Руаяль. А у нее как раз есть приятельница, которая сейчас одна, — ты должен пойти с нами в субботу вечером». Люсьен устроил сцену родителям и добился разрешения уходить вечером по субботам; ключ решили оставлять под ковриком. Он встретился с Гигаром около девяти часов в баре на улице Сент-Оноре. «Сам увидишь, — сказал Гигар, — Фанни очаровательна, и к тому она умеет одеваться, что немаловажно». «А моя?» — «С ней я незнаком, знаю только, что она подручная швея и недавно приехала в Париж из Ангулема. Кстати, — прибавил он, — смотри не дай промашку. Я — Пьер Дора. А ты... раз ты блондин, я сказал, что в тебе английская кровь, так оно лучше. Зовут тебя Люсьен Боньер». — «К чему все это?» — спросил заинтригованный Люсьен. «Старина, — ответил Гигар, — это принцип. Можешь делать все, что угодно, с этими женщинами, но никогда не называй своей фамилии». — «Ладно! Хорошо! — согласился Люсьен. — И чем же я занимаюсь?» — «Можешь сказать, что ты студент, это лучше всего, сам понимаешь, это им льстит, и потом ты не обязан тратить на них кучу денег. Расходы, понятно, мы поделим, но сегодня вечером плачу я, я уже привык. В понедельник я скажу, сколько ты мне должен». У Люсьена мгновенно промелькнула мысль, что Гигар хотел кое-что на нем выгадать. «Какой я стал мнительный!» — весело подумал он, и тут вошла Фанни: это была высокая, смуглая и худая девушка, с длинными ногами и сильно накрашенным

лицом. Люсьену она показалась страшной. «Это Боньер, о котором я тебе говорил»,— сказал Гигар. «Очень приятно,— ответила Фанни, близоруко щурясь.— А это Мод, моя подружка». Перед Люсьеном стояла маленькая простушка без возраста, ее шляпка напоминала перевернутый цветочный горшок. Косынки на ней не было, и рядом с яркой Фанни выглядела она тускло. Люсьен испытал горькое разочарование, но заметил, что у нее красивый рот и к тому же с ней ему не придется церемониться. Гигар позаботился о том, чтобы заранее расплатиться за пиво, так что он сумел воспользоваться шумной суматохой знакомства, весело подталкивая девушек к двери и не давая им времени что-нибудь себе заказать. Люсьен был ему признателен за это: господин Флерье выдавал сыну всего сто двадцать пять франков в неделю и из этих денег он должен был оплачивать свои телефонные разговоры. Вечер вышел очень веселым: они отправились на танцы в Латинский квартал, в уютный розовый зальчик с укромными уголками; коктейль здесь стоил сто су. Здесь было много студентов с женщинами вроде Фанни, но не столь шикарными. Фанни была неотразима: она посмотрела прямо в глаза толстому бородачу, курившему трубку, и очень громко сказала: «Не выношу тех, кто курит на танцах». Бородач побагровел и сунул непогашенную трубку в карман. Она обращалась с Гигаром и Люсьеном слегка снисходительно и часто повторяла по-матерински ласково: «Эх вы, мерзавцы такие!». Люсьен чувствовал себя непринужденно и был сама любезность: он наговорил Фанни кучу забавных глупостей и при этом все время ей улыбался. В конце концов улыбка уже не сходила с его лица, и он сумел найти изысканный тон легкой небрежности и рыцарской нежности, чуть оттененный иронией. Но Фанни было не до него: она, взяв Гигара за

подбородок, пальцами растягивала ему щеки, чтобы у него оттопырились губы; когда они делались пухлыми и чуть слюнявыми, словно налитые соком плоды или слизняки, она часто облизывала их, приговаривая при этом: «бэби». Люсьен ужасно смущался и находил Гигара смешным: губы Гигара были измазаны помадой, а на щеках отпечатались следы пальцев. Но другие парочки вели себя еще более вольно; и все целовались; время от времени из гардеробной приходила женщина с корзинкой и, разбрасывая серпантин и разноцветные шарики, кричала: «Оле, детки, веселитесь, смейтесь, оле, оле!», и все смеялись. Наконец Люсьен вспомнил о Мод и, улыбнувшись ей, сказал: «Взгляните-ка на этих голубков». Показав на Фанни и Гигара, он добавил: «А вот мы, почтенные старички...» Он не договорил, но так забавно улыбнулся, что Мод улыбнулась в ответ. Она сняла шляпку, и Люсьен с удовольствием отметил, что она была куда лучше многих женщин в дансинге; он пригласил ее на танец и рассказал о своих проделках с учителями в тот год, когда он готовился к экзаменам на бакалавра. Она хорошо танцевала, у нее были черные серьезные глаза, она не казалась невинной. Люсьен рассказал ей о Берте и сказал, что его терзали угрызения совести. «Но для нее так было лучше»,— прибавил он. Мод нашла историю Берты романтической и грустной, спросила, сколько Берта получала у его родителей. «Для девушки,— добавила она,— не такая уж радость быть в услужении». Гигар и Фанни уже не обращали на них внимания, они ласкали друг друга, и лицо у Гигара было в слюнях. Люсьен то и дело повторял: «Посмотрите на этих голубков, ну посмотрите же!» У него даже была готова фраза: «Они вызывают у меня желание сделать то же самое...» Но он не осмеливался произнести ее и ограничивался улыбками, потом он прикинулся, будто они

с Мод старые приятели, которым наплевать на любовь, назвал ее «стариком» и поднял руку, собираясь похлопать ее по плечу. Вдруг Фанни повернула голову и с удивлением посмотрела на них. «А вы, мелюзга, чего ждете? — спросила она. — Да поцелуйтесь же, ведь вам до смерти хочется». Люсьен обнял Мод; он слегка стеснялся, потому что на них смотрела Фанни; ему хотелось бы, чтобы поцелуй получился долгим и удачным, хотя он не знал, как люди умудряются дышать при этом. В конце концов, это оказалось не так трудно, как он думал, нужно было целоваться чуть косо, чтобы ноздри могли дышать. Он услышал, как Гигар считает: «Раз, два, три, четыре...», и отпустил Мод лишь на пятидесяти двух. «Неплохо для начала, — похвалил Гигар, — но у меня получше выйдет». Люсьен смотрел на свои наручные часы и тоже открыл счет: Гигар оторвался от губ Фанни на сто пятьдесят девятой секунде. Люсьена это взбесило, и он счел это состязание глупым. «Я отпустил Мод из-за приличия, — думал он, — это несложно; если научишься дышать, то можно целоваться до бесконечности». Он предложил провести второй тур и выиграл. Когда все закончилось, Мод посмотрела на Люсьена и серьезно сказала: «А вы хорошо целуетесь». Люсьен покраснел от удовольствия. «Всегда к вашим услугам», — ответил он, поклонившись. Но все же он предпочел бы целоваться с Фанни. Расстались они в половине первого ночи, чтобы успеть к последнему поезду метро. Люсьен был на вершине блаженства; подпрыгивая и приплясывая, он шел по улице Рейнуар и думал: «Дело в шляпе». У него болели уголки рта, так много он смеялся в этот день.

Он усвоил привычку встречаться с Мод по четвергам в шесть часов и вечером в субботу. Она позволяла себя целовать, но не хотела ему отдаться. Люсьен

пожаловался Гигару, который его успокоил: «Не волнуйся, Фанни уверена, что она будет спать с тобой; правда, она еще молода и имела всего двух любовников. Фанни рекомендует тебе быть с ней поласковой. «Поласковой? — спросил Люсьен. — Ты думаешь, что говоришь?» Они рассмеялись, и Гигар заключил: «Делай как знаешь, старик». Люсьен был очень ласков. Он много целовал Мод и говорил, что любит ее, но в конце концов это было несколько однообразно, к тому же он не слишком стремился бывать с ней на людях; ему хотелось кое-что подсказать Мод насчет ее туалетов, но она была набита предрассудками и очень быстро выходила из себя. Между поцелуями они сидели молча, с неподвижными глазами, и держались за руки. «Бог знает, о чем она думает, если у нее такой суровый взгляд». Сам же Люсьен думал всегда об одном и том же — о своей жалкой, печальной и смутной жизни, говоря себе: «Я хотел бы быть Леморданом, вот человек, который нашел свой путь!» В такие минуты он видел себя как бы со стороны, представляя себя другим: тот сидит рядом с женщиной, которая его любит, его рука в ее руке, его губы еще влажны от ее поцелуев, но отвергает то скромное счастье, какое она ему предложила, — он одинок. И он крепко сжимал пальцы малютки Мод, и слезы выступали у него на глазах: он ведь так хотел бы сделать ее счастливой.

В одно декабрьское утро Лемордан подошел к Люсьену, в руке он держал какую-то бумажку. «Ты не хочешь подписать?» — спросил он. «Что это?» — «Это против жидов из Высшей нормальной школы; они прислали в «*Эвр*» гнусную писульку против обязательной военной подготовки, под ней двести подписей. Вот мы и протестуем: нам нужно собрать по крайней мере тысячу фамилий; мы дадим подписать наш протест «сирараты», «флоттарам», «агро», в общем, всей элите».

Люсьен почувствовал себя польщенным и спросил: «Это появится в печати?» — «В «Аксьон» наверняка, возможно, и в «Эко де Пари». Люсьен хотел подписать сразу же, но подумал, что это выглядело бы несерьезно. Он взял листок и внимательно его прочел. Лемордан прибавил: «Ты, кажется, не занимаешься политикой, это твое дело. Но ты француз и имеешь право сказать свое слово». Услышав «ты имеешь право сказать свое слово», Люсьен почувствовал, как его буквально пронзила мгновенная необъяснимая радость. Он подписал. На следующий день он купил «Аксьон Франсез», но воззвания в нем не было. Оно появилось только в четверг, и Люсьен нашел его на второй странице, под шапкой: *Молодежь Франции наносит мощный прямой удар по зубам мирового еврейства*. Фамилия его была проставлена тут же, компактная, четкая, недалеко от Лемордана, почти такая же чужая, как Флеш и Флипо, окружавшие ее; казалось, она во что-то обернута. «Люсьен Флерье,— подумал он,— это крестьянская фамилия, истинно французская фамилия». Он прочитал вслух все фамилии, начинающиеся на Ф, и, дойдя до своей, прочел ее словно впервые. Затем сунул газету в карман и, довольный, пошел к себе в комнату.

Спустя несколько дней он сам пришел к Лемордану. «Ты ведь занимаешься политикой?» — спросил он. «Я член Лиги,— ответил Лемордан,— ты хоть изредка читаешь «Аксьон»? — «Редко,— признался Люсьен,— до сих пор все это меня не интересовало, но, по-моему, я начинаю меняться». Лемордан смотрел на него без любопытства, с обычным своим непроницаемым видом. Люсьен рассказал ему в самых общих чертах о том, что Бержер называет его «смятением». «Ты откуда родом?» — спросил Лемордан. «Из Фероля. У отца там завод». — «Сколько времени ты там прожил?» — «До второго класса». — «Понятно,— сказал Ле-

мордан,— все очень просто, ты — лишенный почвы. Ты читал Барреса?» — «Читал *«Колетту Бодош»*. — «Это не то, — перебил его Лемордан. — Я сегодня же принесу тебе *«Лишенных почв»*, это книга про тебя. Ты найдешь в ней и свою болезнь, и лекарство от нее». Книга была переплетена в зеленую кожу. На первой странице было проставлено готическими буквами: «Ex libris Andre Lemordant». Люсьен удивился: он никогда не задумывался, как зовут Лемордана.

К чтению он приступил с большим недоверием: уже столько раз они пытались его объяснить; столько раз давали читать книги, предупреждая: «Прочти, это же ты». Люсьен, грустно улыбнувшись, подумал, что он не из тех, кого можно было бы сбить с толку несколькими фразами. Эдипов комплекс, Смятение — все это ребяческие забавы, и как они теперь далеки от него! Но с первых же страниц книга захватила Люсьена: прежде всего в ней не было психологии (он был сыт этой психологией по горло); Баррес рассказывал о молодых людях, которые не были абстрактными, деклассированными личностями, как Рембо или Верлен, они не были больными, как эти праздные светские дамы, которых Фрейд лечил психоанализом. Баррес начинал с того, что помещал их в родную им среду, в родную семью: в провинции они получали хорошее, в твердых традициях воспитание; Люсьен нашел, что Стюрель похож на него. «Да, и все-таки правда, — говорил он себе, — что я — лишенный почвы». Он думал о нравственном здоровье семьи Флерье, о том здоровье, которое приобретается лишь в деревне, об их физической силе (дед его мог согнуть пальцами бронзовую монету); он с умилением вспоминал рассветы в Фероле: он вставал, на цыпочках спускался по лестнице, чтобы не разбудить родителей, садился на велосипед, и нежная природа Иль-де-Франса принимала его в свои ласковые

объявлять. «Я всегда ненавидел Париж», — с чувством думал он. Он прочел также «Сад Береники»; он изредка отрывался от чтения и, устремив глаза в какую-то неясную даль, начинал размышлять: итак, ему снова предлагают выбрать характер и судьбу, способ избавиться от неистощимой болтовни своего сознания, предлагают метод, чтобы определить, кто же ты такой, и оценить себя по достоинству. И конечно же гнусным и похотливым чудовищам Фрейда он предпочел бы то пропитанное деревенскими запахами бессознательное, которое дарил ему Баррес. Чтобы обрести его, Люсьену надо было лишь отказаться от бесплодного и опасного самосозерцания; для этого ему надо было бы изучить почвы и подпочвы Фероля, разгадать смысл его волнистых холмов, спускающихся до самого Сернетта, обратиться к географии населения и истории. Или же просто вернуться в Фероль и жить там — Люсьен нашел бы под ногами это бессознательное, безвредное и плодоносное, разлитое по всей ферольской равнине, скрытое в деревьях, ручьях, траве, подобное тому питательному перегною, в котором Люсьен почерпнул бы наконец силу, чтобы стать хозяином. От этих долгих мечтаний Люсьен пробуждался в сильной экзальтации, а иногда у него даже создавалось впечатление, что он нашел свой путь. Сейчас, когда он молча сидел рядом с Мод, обнимая ее одной рукой за талию, в голове у него звучали слова, обрывки фраз — «возобновить традицию», «земля и покойники», слова глубокие и плотные, неисчерпаемые. «Как это заманчиво», — думал он. И однако он не смел в них поверить: слишком часто его обманывали. Он поделился своими опасениями с Леморданом: «Это было бы слишком прекрасно». — «Милый мой, — ответил Лемордан, — нельзя сразу поверить в то, во что ты жаждешь поверить: для этого нужен практический опыт». Он подумал

немного и сказал: «Ты должен прийти к нам». Люсьен всем сердцем принял приглашение, но счел необходимым уточнить, что хотел бы сохранить свою свободу. «Я приду,— обещал он,— но это меня ни к чему не обязывает. Мне нужно осмотреться и подумать».

Люсьен был очарован братством юных «королевских молодчиков»; они оказали ему простой и сердечный прием, и он почувствовал себя с ними легко. Он быстро познакомился с «бандой» Лемордана, в которой насчитывалось десятка два студентов, носивших бархатные береты. Собирались они на втором этаже пивной «Полдер», где играли в бридж и бильярд. Люсьен стал часто бывать с ними в пивной и вскоре понял, что они вполне его приняли, ибо неизменно встречали его криками: «А вот и наш красавчик!» или «Да вот наш Флерье национальный» *. Но особенно пленяло Люсьена их добродушное настроение: ни тени педантизма или строгости, очень мало разговоров о политике. Они смеялись, пели — вот и все; громко орали или били в барабан во славу студенческой молодежи. И сам Лемордан, не подрывая своего авторитета, который никто и не осмелился бы оспорить, немного расслаблялся, иногда позволял себе улыбнуться. Чаще всего Люсьен молчал, его взгляд блуждал по этим шумным и мускулистым молодым людям. «Это сила», — думал он. Среди них он постепенно открывал истинный смысл молодости: этот смысл уже не заключался в жеманной грации, которую так ценил Бержер; молодость была будущим Франции. Впрочем, товарищи Лемордана не обладали волнующим очарованием юности: они казались взрослыми и многие уже носили бороды. Если внимательно к ним присмотреться, во всех них можно было

* Здесь в тексте непереводимая игра слов: фамилия Флерье (Flenrier) созвучна со словом «Le Flenron», которое означает «украшение», «жемчужина».

обнаружить что-то родственное: они покончили с ошибками и сомнениями своего возраста, учиться им было уже нечему, они сформировались. Поначалу их пустые и жестокие шутки немного пугали Люсьена: можно было счесть эти шутки бессознательными. Когда Реми сообщил, что госпоже Дюбю, жене лидера радикалов, грузовиком отдало ноги, Люсьен ожидал услышать хотя бы короткое соболезнование несчастному противнику. Но все они просто помирали со смеху и, хлопая себя ладонями по ляжкам, кричали: «Старая падаль!» и «Слава почтенному водителю!» Люсьен был несколько смущен, но сразу же понял, что этот великий очистительный смех был отказом; они чуяли опасность, они не желали опускаться до трусливой жалости, и они отвергли ее. Люсьен тоже стал смеяться вместе с ними. Постепенно их проказы открылись ему в своем истинном свете; они ведь только внешне выглядели легкомысленными, а по сути были утверждением права: убежденность этих молодых людей была столь глубокой, столь религиозной, что она давала им право казаться легкомысленными, остроумной репликой, дерзкой выходкой низвергать все, что не имеет отношения к главному. Между холодным как лед юмором Шарля Морраса и шуточками, например, Десперро (он таскал в кармане обрывок старого презерватива, который называл крайней плотью Блюма) разница лишь в уровне. В январе университет объявил о торжественном заседании, в ходе которого должно было состояться присвоение звания «*doctor honoris causa*» двум шведским минералогам. «Ты увидишь большую бузу», — сказал Лемордан, вручая Люсьену приглашенный билет. Большой Амфитеатр был переполнен. Когда Люсьен увидел, как под звуки «*Марсельезы*» в зал входят президент Республики и ректор, у него заколотилось сердце, его охватил страх за своих дру-

зей. И в ту же минуту несколько молодых людей встали на скамьи и громко заорали. В одном из них Люсьен с нежностью узнал красного, как помидор, Реми, который отбивался от двух мужчин, тянувших его за пиджак, и кричал: «Франция французам». Но особенно приятно ему было смотреть на пожилого господина, который с видом расшалившегося ребенка изо всех сил дул в маленькую трубу. «Как это целительно!»— подумал Люсьен. Он живо наслаждался этой оригинальной смесью упрямой серьезности и шумного буйства, которая самых юных делает похожими на взрослых, а пожилых превращает в каких-то бесенят. Вскоре и Люсьен тоже попробовал пошутить. Он имел успех, а когда сказал об Эррио: «Если этот умрет в своей постели, значит, больше нет Господа Бога», то почувствовал, как в нем зарождается праведный гнев. Тогда он сжал челюсти и несколько минут ощущал себя таким же убежденным, таким же ограниченным, таким же сильным, как Реми или Десперро. «Лемордан прав,— думал он,— нужен практический опыт, в этом все дело». Он научился также пренебрегать спорами. Гигар, этот жалкий республиканец, засыпал его возражениями. Люсьен из вежливости его слушал, но Гигар говорил не умолкая, и Люсьен даже не смотрел на него; он аккуратно разглаживал складку и разглядывал женщин. Несмотря на это, он кое-что понимал в возражениях Гигара, но они вдруг теряли свою весомость и скользили, не касаясь его, невесомые и никчемные. Пораженный этим, Гигар в конце концов умолкал. Люсьен рассказал родителям о своих новых друзьях, и господин Флерье спросил его, не собирается ли он присоединиться к «молодчикам короля». Люсьен помешкал с секунду и сказал серьезно: «Меня это привлекает, по-настоящему привлекает».— «Люсьен, умоляю тебя, не делай этого,— просила мать,— они ведут себя

слишком бурно, и добром это не кончится. Ты хочешь, чтобы тебя избили или посадили в тюрьму? И вообще, ты еще очень молод, чтобы заниматься политикой». Люсьен ответил ей твердой улыбкой, но вмешался господин Флерье. «Оставь его, дорогая,— с нежностью сказал он,— пусть он следует своим убеждениям; ему надо пройти через это». Люсьену показалось, что с этого дня родители стали относиться к нему с особым уважением. Однако он никак не мог решиться; эти несколько недель многому его научили — он вспоминал благожелательный интерес отца, беспокойство госпожи Флерье, нарождающееся уважение Гигара, настойчивость Лемордана, нетерпение Реми и, качая головой, говорил себе: «Это дело нешуточное». Он имел долгий разговор с Леморданом, и Лемордан, прекрасно поняв его соображения, посоветовал ему не торопиться. Приступы хандры все еще накатывали на Люсьена: ему начинало казаться, что он всего лишь крохотный, прозрачно-студенистый комочек, который дрожит мелкой дрожью на банкетке кафе, и шумная суета «королевских молодчиков» представлялась ему нелепой. Но в иные минуты он ощущал себя твердым и тяжелым, как камень, и был почти счастлив.

Отношения его со всей «бандой» складывались прекрасные. Он спел им песенку «Свадьба Реббеки», которой Эбрар научил его в прошлые каникулы, и все в один голос заявили, что он классный хохмач. Войдя в раж, Люсьен высказал несколько язвительных суждений о евреях и рассказал о Берлиаке, который был страшно скуп: «Я всегда спрашивал себя, ну почему он такой жмот, ведь невозможно быть таким жмотом. И вдруг в один прекрасный день понял: это у него еврейское». Все засмеялись, а Люсьен впал в неистовство: он чувствовал, что он действительно зол на евреев, а воспоминание о Берлиаке было ему глубоко отвра-

тительно. Лемордан посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «У тебя чистая душа». Впоследствии Люсьена часто просили: «Флерье, расскажи-ка нам что-нибудь веселенькое про жидов», и Люсьен рассказывал еврейские анекдоты, которые слышал от отца; стоило ему заговорить с еврейским акцентом, как его друзья начинали хохотать. Однажды Реми и Патенотр рассказали, что встретили возле Сены какого-то алжирского еврея и страшно напугали его, сделав вид, будто собираются бросить его в воду. «Я сказал себе,— заключил Реми,— какая жалость, что с нами нет Флерье». — «Может, это к лучшему, что его там не было,— перебил его Десперро,— ведь он наверняка швырнул бы еврея в Сену!» Люсьену не было равных в распознавании евреев на глазок. Идя с Гигаром по улице, он часто толкал его локтем: «Сразу не оборачивайся, этот маленький толстяк за нами — еврей!» — «Да,— говорил Гигар,— у тебя на них нюх!» Фанни тоже терпеть не могла евреев; по четвергам они вчетвером поднимались в комнату Мод, и Люсьен пел им «Свадьбу Реббеки». Фанни помирала со смеху и просила: «Перестаньте, хватит, а то я сейчас уписаюсь». Когда он замолкал, она одаривала его счастливым, почти влюбленным взглядом. В конце концов в пивной «Полдер» с Люсьеном стали разыгрывать одну и ту же шутку. Всегда находилась кто-нибудь, чтобы небрежно обронить: «Да... Флерье обожает евреев...» или «Леон Блюм, большой друг Флерье...», а все остальные замирали в ожидании, охваченные восторгом, затаив дыхание и раскрыв рты. Люсьен делался пунцовым и, стуча кулаком по столу, орал: «Провались они пропадом!», а вся компания корчилась от хохота и скандировала: «Клюнул! Клюнул! И наживку проглотил!»

Он часто ходил вместе с ними на политические собрания, слушал профессора Клода и Максима Реал

дель Сартре. Занятия немного страдали от этих его новых обязанностей, но, поскольку, судя по всему, Люсьен в этом году не мог бы рассчитывать на успех при поступлении в Центральную Школу, господин Флерье проявил к нему снисходительность. «Будет лучше,— сказал он жене,— если Люсьен как следует освоит профессию мужчины». После собраний у Люсьена и его друзей головы шли кругом, они вовсю духарились. Однажды — их было десять человек — им повстречался маленький смуглолицый человечек, который переходил улицу Сент-Андре-дез-Арт, на ходу читая «Юманите». Они прижали его к стене, и Реми скомандовал: «Брось газету». Тип стал было кобениться, но Десперро, зайдя со спины, обхватил его сзади и поднял, Лемордан же своей могучей лапой вырвал у него газету. Выглядело все очень весело. Человечек в ярости дрыгал ногами и со смешным акцентом кричал: «Пустите меня, пустите», а Лемордан между тем преспокойно рвал газету на мелкие кусочки. Но едва Десперро опустил человечка на землю, дело начало портиться: тот бросился на Лемордана и ударил бы его, если б Реми не успел врезать ему кулаком по уху. Человечек врезался в стену, но, зло глядя на них, повторял: «Грязные французы!» — «Повтори, что ты сказал», — сухо потребовал Маршессо. Люсьен понял, что сейчас произойдет что-то гнусное. Маршессо не понимал шуток, если они касались Франции. «Грязные французы!» — повторил метек. Получив чудовищную оплеуху, он, пригнув голову, кинулся на них, вопя: «Грязные французы, грязные буржуа, ненавижу вас, чтоб вы сдохли все, все, все!», обрушивая на них поток гнусных оскорблений с такой яростью, которой Люсьен и представить себе не мог. Тут уже они потеряли терпение и сочли себя обязанными взяться за него всем хором, чтобы дать ему хорошую трепку.

Когда наконец они его отпустили, человек с трудом прислонился к стене; он тряся, от удара кулаком правый глаз у него затек, они же, уставшие, стояли вокруг и ждали, когда он упадет. Тип скривил губы и сплонул: «Грязные французы!»— «Тебе мало, еще хочешь?»— тяжело дыша, спросил Десперро. Человек, казалось, не слышал: он вызывающе смотрел на них одним левым глазом и твердил: «Грязные французы, грязные французы!» Наступило минутное замешательство, и Люсьен понял, что друзья его готовы выйти из игры. Это оказалось сильнее его; он прыгнул вперед и ударил его изо всех сил. Он услышал, как что-то хрустнуло, а человек посмотрел на него с жалким, удивленным видом. «Грязн...»— пробормотал он. Его опухший глаз стал похож на красный шар без зрачка; он рухнул на колени и замолк. «Надо мотать отсюда»,— прошептал Реми. Бежали они долго и остановились только на площади Сен-Мишель; их никто не преследовал. Они поправили галстуки и, ладонями отряхивая друг друга, привели себя в порядок.

Вечер завершился тем, что молодые люди ни разу не упомянули о своем приключении и были особенно внимательны друг к другу: они отказались даже от той стыдливой грубости, которая обычно служила ширмой их чувств. Они вежливо беседовали, и Люсьен подумал, что они впервые предстали такими, какими, вероятно, бывали в кругу семьи; но сам он очень разнервничался, у него не было привычки драться на улице с хулиганами. Он с нежностью думал о Мод и Фанни.

Он никак не мог уснуть. «Я не могу,— думал он,— продолжать участвовать в их любительских выходках. Теперь все взвешено, и мне надо ввязаться в борьбу». Он чувствовал в себе серьезность и почти религиозную торжественность, когда объявил эту добрую но-

вость Лемордану. «Решено,— сказал он ему,— я с вами». Лемордан похлопал его по плечу, и вся компания отметила это событие распитием нескольких бутылок. Они вновь обрели прежний свой грубый и веселый тон и ни словом не обмолвились о вчерашнем инциденте. И лишь когда они расходились, Маршессо, между прочим, заметил Люсьену: «А рука у тебя тяжелая!», и Люсьен ответил: «А что еще еврею надо!»

Через день Люсьен пришел к Мод с толстой бамбуковой тростью, которую купил в магазине на бульваре Сен-Мишель. Мод сразу все поняла. Она посмотрела на трость и сказала: «Порядок?» — «Порядок!» — улыбнулся Люсьен. Мод казалась довольной; сама она скорее симпатизировала левым, но душа у нее была широкая. «По-моему,— объявила она,— в каждой партии что-то есть». Весь вечер она часто ерошила ему волосы на затылке, называя маленьким фашистом. В один из субботних вечеров Мод почувствовала себя сильно уставшей. «Я должна пойти домой,— сказала она,— но ты можешь подняться ко мне, если дашь слово, что будешь умницей: ты возьмешь меня за руку и будешь очень добрым со своей маленькой Мод, которой сейчас так плохо, ты будешь рассказывать ей интересные истории». Люсьен не чувствовал в себе особого энтузиазма: комнатка Мод наводила на него тоску своими следами заботливо скрываемой бедности, она походила на комнату прислуги. Но упустить столь благоприятную возможность с его стороны было бы преступлением. Едва войдя, Мод бросилась на кровать, вздыхая: «Уфф! Как хорошо», затем, часто заморгав и слегка вытянув губы, посмотрела Люсьену прямо в глаза. Он прилег с ней рядом; прикрыв глаза ладонью и чуть раздвинув пальцы, она сказала ему, по-детски выговаривая слова: «Ку-ку, я тебя вижу, Люсьен, я тебя вижу!» Он чувствовал себя отяжелевшим и

вялым, она вложила ему пальцы в рот, и он принялся сосать их, затем засюсюкал приторно-нежно: «Маленькая Мод больна, как она несчастна, бедная крошка Мод!»— и при этом ласкал ее тело; закрыв глаза, она улыбалась загадочной улыбкой. Наконец он задрал ее платье и... вдруг обнаружил, что они занимаются любовью; Люсьен подумал: «А все-таки я молодец». «Ну вот,— сказала Мод, когда они закончили,— если бы я только могла знать!» Она смотрела на Люсьена с мягким упреком: «Гадкий мальчишка, я думала, ты будешь умницей!» Люсьен сказал, что для него все это было столь же неожиданно, как и для нее. «Как-то само вышло»,— сказал он. Она слегка задумалась и серьезно сказала ему: «Я ни о чем не жалею. Раньше, возможно, и было чище, но все было не так полно».

«У меня есть любовница»,— думал Люсьен в метро. Он чувствовал пустоту и усталость и, казалось, весь был пропитан запахом абсента и свежей рыбы; сидеть он старался очень прямо, чтобы не прикасаться насквозь промокшей потом рубашкой к сиденью; тело его было словно вымазано простоквашей. Он повторил про себя: «У меня есть любовница», но чувствовал себя обманутым; что ему нравилось в Мод еще вчера, так это ее узкое и твердое лицо, у которого был такой одетый вид, ее тоненькая фигурка, гордый взгляд, репутация серьезной девушки, презрение к мужчинам, все, что делало ее столь своеобразной, личностью воистину *другой*, устойчивой и определенной, всегда недостижимой, со всем своим достоинством, целомудрием, своими шелковыми чулками, креповой юбкой, перманентом. И весь этот камуфляж рухнул в его объятиях, и осталась одна голая плоть; он приблизился к губам этого безглазого лица, такого же голого, каким бывает живот, вкусил от плода этого влажного тела. Он вновь и вновь видел это слепое существо,

которое извивалось на простыне, зевая волосатой бездной, и думал: это были *мы вдвоем*. Они были единым целым, он не мог более различить свое тело, отделить его от тела Мод; никто и никогда не вызывал в нем столь острого, тошнотворного ощущения близости, кроме, быть может, Рири, когда тот показывал ему за кустом свою пиписку или когда, описавшись, лежал на животе, дрыгая ногами, с голой попкой, и дожидался, когда высохнут его штанишки. Вспомнив о Гигаре, Люсьен почувствовал некоторое утешение; он скажет ему завтра: «Я спал с Мод, старик, она великолепна, что-что, а это у нее просто в крови». Но ему было не по себе: погруженный в пыльную духоту метро, он болезненно ощущал наготу своего несчастного тела, совершенно голого под тоненькой кожей одежды, голого и одеревеневшего рядом с этим священником, перед этими двумя пожилыми дамами; действительно, длинная, мокрая спаржа.

Гигар от души его поздравил. Он уже начинал порядком уставать от Фанни: «У нее чудовищный характер. Вчера она весь вечер на меня дулась». Оба сошлись в одном: да, конечно, подобные женщины должны существовать, так как нельзя же оставаться девственником до самой женитьбы, и что они, эти женщины, не больны и не корыстны, но привязываться к ним — большая ошибка. Гигар с воодушевлением заговорил о настоящих девушках, и Люсьен справился о том, как поживает его сестра. «Неплохо, старик,— ответил Гигар,— она говорит, что ты совсем забросил старых друзей». — «Знаешь,— добавил он чуть небрежно,— я очень рад, что у меня есть сестра: ведь тогда на многое в жизни смотришь иначе». Люсьен был с ним совершенно согласен. В дальнейшем они часто беседовали о юных девушках, ощущая, как души их переполняют нежные поэтические чувства, и Гигар лю-

бил повторять слова одного из своих дядей, пользовавшегося большим успехом у женщин: «Возможно, в своей жизни я не совершил ничего хорошего, но от одного Господь меня уберет; я скорее дал бы отрезать себе руку, чем тронул невинную девушку». Они вновь стали бывать у подруг Пьеретты. Пьеретта очень нравилась Люсьену, он говорил с ней, как старший брат, слегка поддразнивая, и был признателен ей за то, что она не обрезала своих длинных волос. Его очень поглощала политическая активность, утром по воскресеньям он продавал «Аксьон Франсез» перед собором де Ноилли. В течение более чем двух часов Люсьен ходил вверх-вниз по улице с выражением твердости на лице. Девушки, выходящие с мессы, иногда стреляли в него своими красивыми честными глазками, и тогда Люсьен, чувствуя себя чистым и сильным, позволял себе слегка расслабиться и улыбался в ответ. Он сказал ребятам, что уважает женщин, и был рад найти у них столь желанное ему понимание. Кстати, почти у всех были сестры.

Семнадцатого апреля Гигары устроили вечеринку с танцами по поводу восемнадцатилетия Пьеретты, и Люсьен, естественно, был приглашен. С Пьереттой они уже были большие друзья, она называла его своим кавалером; он подозревал, что она немножечко в него влюблена. Госпожа Гигар пригласила тапера, так что вечер обещал быть очень веселым. Люсьен станцевал несколько танцев с Пьереттой, затем пошел к Гигару, который принимал своих друзей в курительной. «Привет,— сказал Гигар,— по-моему, все знакомы друг с другом: Флерье, Симон, Ванусс, Ледуз». Пока Гигар называл имена своих товарищей, Люсьен увидел, как какой-то высокий молодой человек с рыжими кудрявыми волосами, молочно-белой кожей и густыми черными бровями нерешительно направился к ним, и гнев

обуял его. «Что нужно здесь этому типу? — спрашивал он себя.— Ведь Гигар прекрасно знает, что я не выношу евреев!» Он развернулся и поспешно, чтобы избежать скандала, вышел из комнаты. «Кто этот еврей?» — спросил он чуть погодя Пьеретту. «Это Вейль, он учится в Высшей Коммерческой Школе, они с братом вместе занимаются фехтованием». — «Я страшно боюсь евреев», — сказал Люсьен. Пьеретта издала легкий смешок. «Но это исключительно милый мальчик», — сказала она. — «Проводи меня в буфет». Люсьен выпил чуть-чуть шампанского и не успел даже поставить бокал, как он очутился лицом к лицу с Гигаром и Вейлем. Метнув на Гигара испепеляющий взгляд, он отвернулся. Но Пьеретта схватила его за руку, и Гигар подступил к нему с вполне простодушным видом. «Мой друг Флерье, мой друг Вейль, — сказал он непринужденно, — вот я вас и представил». Вейль протянул руку, и Люсьен почувствовал себя ужасно скверно. К счастью, он вспомнил вдруг Десперро: «Уж Флерье наверняка швырнул бы этого еврея в Сену». Вложив руки в карманы, он повернулся спиной к Гигару и вышел. «Я не смогу больше бывать в этом доме», — думал он, спрашивая в гардеробе свое пальто. Гордость его была уязвлена. «Вот что значит твердо придерживаться принципов; становится невозможным жить в обществе». Но на улице спеси у него заметно поубавилось, и на душе стало очень тревожно. «Гигар, должно быть, взбешен!» Он покачал головой и постарался сказать себе убедительно: «Он не имел права приглашать еврея, если собирался пригласить меня!» Но весь гнев его куда-то улетучился, с чувством мучительной неловкости он вспомнил удивленное лицо Вейля, его протянутую руку и начал уже склоняться к примирению: «Пьеретта, наверное, думает, что я хам. Я должен был позвать ему руку. В конце концов это меня

ни к чему не обязывало. Надо было сдержанно поздороваться и тут же уйти — вот как следовало поступить». Он спрашивал себя, возможно ли было еще вернуться к Гигарам. Он подошел бы к Вейлю и сказал: «Извините меня, я себя плохо чувствовал», он пожал бы ему руку и немного поболтал с ним вежливо. Но нет, было слишком поздно, его поступок был неоправим. «И кто меня просил,— с раздражением думал он,— демонстрировать свои взгляды людям, которые не способны их понять!» Он нервно пожал плечами: это была катастрофа. В эту самую минуту Гигар и Пьеретта обсуждали его поведение, Гигар говорил: «Он законченный болван!» Люсьен сжал кулаки. «О! — думал он в отчаянии,— как я их ненавижу! Как я ненавижу евреев!» — и попытался вложить побольше силы в созерцание этой своей бесконечной ненависти. Но она рассыпалась под его взглядом, и напрасно он старался думать о Леоне Блюме, который получал деньги от немцев и ненавидел французов, он не чувствовал в себе ничего, кроме уныния и безразличия. Люсьену посчастливилось застать Мод у себя. Он сказал ей, что любит ее, и несколько раз с какой-то яростью овладел ею. «Все кончено,— думал он,— я никогда не стану кем-то». — «Нет, нет! — говорила Мод.— Остановись же, мой большой непослушный мальчик, не надо, этого нельзя делать!» Но затем она все же сдалась: Люсьен хотел целовать ее тело всюду. Он чувствовал себя порочным ребенком, ему хотелось плакать.

На следующее утро в лицее при виде Гигара у Люсьена защемило сердце. Вид у Гигара был замкнутым и сосредоточенным, и он притворялся, что не замечал его. Люсьен был так взбешен, что не мог даже вести записи. «Скотина! — думал он.— Скотина!» После уроков Гигар подошел к нему, он был бледен. «Если сейчас

он начнет читать мне мораль,— подумал Люсьен в страхе,— я его ударю». Они стояли какое-то время друг против друга, уставившись на носки своих туфель. Наконец Гигар заговорил изменившимся голосом: «Извини меня, старик, я не хотел тебя обижать». Люсьен вздрогнул и недоверчиво посмотрел на него. Но Гигар продолжал через силу: «Я познакомился с ним в манеже, ты понимаешь, ну, в общем, я хотел... мы фехтовали вместе, он приглашал меня к себе, но, я понимаю, я не должен был так делать, не знаю, как все получилось, но, когда я составлял приглашения, я не подумал, что...» Люсьен молчал, слова не приходили ему в голову, но он чувствовал, как снисхождение начинает переполнять его. Гигар добавил, опустив голову: «Ну так, это недоразумение...» — «Да, конечно, простая оплошность,— сказал Люсьен, похлопывая его по плечу.— Я прекрасно знаю, что ты сделал это не нарочно». И он продолжил великодушно: «Впрочем, я тоже хорош. Я вел себя, как какой-то хам. Но что поделаешь, это сильнее меня, я не могу до них дотронуться, это что-то физическое, у меня такое чувство, как будто на руках у них чешуя. А что сказала Пьеретта?» — «Она смеялась, как сумасшедшая»,— сказал Гигар жалобно. «А этот тип?» — «Он все понял. Я объяснил ему, как мог, и через четверть часа он отчалил». Он добавил, все еще сконфуженный: «Родители сказали, что, в сущности, ты был прав, ты не мог поступить иначе, так как вопрос касался твоих убеждений». Люсьен промаковал мысленно слово «убеждения», ему хотелось изо всех сил сжать Гигара в своих объятиях. «Все это ерунда, старик,— сказал он,— суцая ерунда, главное, что мы остаемся друзьями». По бульвару Сен-Мишель он спускался в какой-то необыкновенной экзальтации: ему казалось, что он не был больше самим собой.

Он говорил себе: «Странно, но это уже не я, я не узнаю себя!» Было тепло и спокойно; вокруг гуляли люди с первыми весенними улыбками удивления на лицах; и эту мягкую безвольную толпу стальным клином рассек Люсьен, он думал: «Это уже не я». Еще вчера это я было каким-то большим, раздутым, похожим на ферольских кузнечиков насекомым, сейчас же Люсьен чувствовал себя ясным и цельным, как хронометр. Он вошел в «*Ля Сурс*» и заказал перно. Компания не посещала «*Ля Сурс*», потому что здесь было полно метеков; но сегодня метеки и евреи не доставляли неудобств Люсьену. Среди этих оливкового цвета тел, шумевших глухо, как овсяное поле под ветром, он чувствовал себя необыкновенным, грозным, подобным чудовищно ослепительно блестящим часам, прислоненным к стулу. Он повеселел немного, узнав маленького еврея, которого «Ж. П.» поколотили в прошлом семестре в коридоре факультета права. На маленьком чудовище, толстом и задумчивом, не осталось уже никаких следов от побоев; помятое на некоторое время, оно вновь приняло свою естественную округлую форму, но на нем отпечатались какая-то непристойная безропотность.

В эту минуту у Люсьена был счастливый вид: он зевнул сладострастно; луч света щекотал ему ноздри; он почесал нос и улыбнулся. Была ли это улыбка? Или скорее легкое колебание, которое родилось где-то там, внутри, в дальнем уголке зала и затухло на его губах? Все эти метеки плавали в какой-то мутной, тяжелой жидкости, волны которой сотрясали их вялые тела, поднимали их руки, двигали их пальцами и едва заметно играли их губами. Бедняги! Люсьен даже жалел их. Что нужно было им здесь во Франции? Каким морским течением прибило их сюда? Напрасно они старались одеваться прилично, заказывая костюмы

у портных с бульвара Сен-Мишель, они оставались всего лишь медузами. И Люсьен подумал, что он не был медузой, не принадлежал к этой смиренной фауне, он сказал себе: «Я просто нырнул сюда!» А потом вдруг он забыл и «*Ля Сурс*», и этих метеков, и он увидел спину, широкую и мускулистую, которая удалялась от него, исполненная уверенной силы, неумолимо погружаясь в туман. Тут же стоял Гигар, бледный, он провожал глазами эту спину, он говорил невидимой Пьеретте: «Да, но это же недоразумение!..» Почти невыносимая радость охватила Люсьена: эта могучая и одинокая спина была *его* спиной! И это произошло вчера! В течение одного мгновения ценой невероятного усилия ему удалось стать Гигаром, он видел свою собственную спину глазами Гигара, перед самим собой он испытывал унижение за Гигара и пережил приятное чувство испуга. «Это должно послужить ему уроком!» — подумал он. Обстановка переменилась: теперь это был будуар Пьеретты и дело происходило в будущем. Пьеретта и Гигар с озабоченными лицами вписывали в пригласительный билет чье-то имя. Люсьена с ними не было, но над ними довлела его могучая и непреклонная личность. Гигар говорил: «Ах нет, не это! Было бы смешно, с Люсьеном, который не выносит евреев!» Люсьен еще раз окинул взглядом и подумал: «Люсьен — это я! Тот, кто не выносит евреев». Эту фразу он произносил не впервые, но сегодня она звучала не так, как обычно. Совсем нет. Конечно, на первый взгляд это была простая констатация, как если бы кто-то сказал: «Люсьен не любит устриц» или «Люсьен не любит танцевать». Но не следовало заблуждаться на этот счет: любовь к танцам, обнаружить которую, вероятно, можно было бы и у этого маленького еврея, значила не больше, чем дрожь какой-то медузы; достаточно было хоть раз взглянуть на этого чертова жида,

чтобы понять, что его любовь или нелюбовь принадлежали ему так же, как его запах, как отблеск его кожи, и что они исчезли бы вместе с ним, как морганье его тяжелых век и как эта его липкая и сладострастная улыбка. Антисемитизм же Люсьена был совсем иного сорта: безжалостный и чистый, он торчал из него, как стальной клинок, опасный для вражеской груди. «Это,— думал он,— это... это святое!» Он вспомнил, как его мать, когда он был маленьким, говорила ему иногда особым тоном: «Папа работает у себя в кабинете». И фраза эта казалась ему магическим заклинанием, которое накладывало на него множество порелигиозному торжественных обязанностей, таких, как не играть своим воздушным ружьем, не кричать «Тара-рабум»; и он ходил по коридорам на цыпочках, словно в каком-то соборе. «Пришел мой черед»,— думал он с удовлетворением. Уже говорили, понизив голос: «Люсьен не любит евреев», и люди чувствовали себя парализованными, пронзенными целой тучей маленьких болезненных стрел. «Гигар и Пьеретта,— подумал он растроганно,— просто дети». Они сильно провинились, но Люсьену достаточно было лишь чуть-чуть показать зубы, и они тотчас в этом раскаялись, и заговорили шепотом, и заходили на цыпочках.

Люсьен во второй раз ощутил прилив восхитительного чувства уважения к самому себе. Но на этот раз ему уже не понадобились глаза Гигара: это в своих же собственных глазах он выглядел таким, в глазах, которым удалось наконец преодолеть цепи его телесной оболочки, его вкусов, привычек и настроений. «Там, где я искал себя,— думал он,— я и не мог бы себя найти». Сколько раз он пытался честно и детально исследовать все, что *составляло* его я. «Но если бы я не был тем, что я есть, то цена мне была бы не больше, чем этому маленькому жидку». Копаясь так в

этой слизистой интимности, можно ли было найти что-нибудь, кроме тоски тела, гнусных заблуждений о равенстве, беспорядка? «Наипервейшее правило,— думал Люсьен,— не пытаться заглянуть в себя; нет более опасной ошибки». Настоящего Люсьена — теперь он знал это — следовало искать в глазах других, в робкой покорности Пьеретты и Гигара, в полном надежды ожидании всех тех, кто рос и созревал для него, этих юных подмастерьев, его будущих рабочих, ферольцев больших и малых, мэром которых он должен был когда-то стать. Люсьен почти уже боялся, ему казалось, что он гораздо старше самого себя. Столько вокруг людей ожидало его, и он, он был и всегда будет этим нетерпеливым ожиданием других. «Это и есть быть хозяином»,— думал он. И он вновь увидел мускулистую и чуть сутулую спину и сразу вслед за этим собор. Он находился внутри собора и бродил бесшумно под процеженным витражами светом. «Да ведь это же я сам и есть этот собор!» Он остановил невидящий, напряженный взгляд на своем соседе, длинном, как сигара, коричневом и сухом кубинце. Нужно было найти точные слова, чтобы выразить это сделанное им чрезвычайно важное открытие. Он медленно и осторожно, словно стараясь не погасить зажженную свечку, поднес ко лбу свою руку, сосредоточился на мгновение в священной задумчивости, и долгожданные слова пришли сами, он прошептал: «Я имею право!» Право! Это было чем-то из области треугольников и окружностей; оно было настолько совершенным, что даже и не существовало вовсе; можно было сколько угодно раз пытаться описать циркулем окружность, и ничего это ровным счетом бы не изменило. Целые поколения рабочих могли скрупулезно выполнять указания Люсьена, они были не в состоянии исчерпать его права распоряжаться; права, они были вне существования, как мате-

матические объекты или религиозные догмы. И вот чем в сущности был Люсьен — огромной совокупностью обязанностей и прав. Долгое время ему казалось, что существовал он в силу какого-то случая, как его продукт; но ошибка эта была лишь следствием его неумеренных размышлений. Задолго до его рождения ему уже было уготовлено место под солнцем, в Фероле. Давно — гораздо раньше даже женитьбы его родителей — его уже ждали; и если он пришел в этот мир, так только лишь затем, чтобы занять это место. «Я существую, — думал он, — потому что имею право существовать». И наверно, впервые взору его открылась предназначенная ему светлая и славная судьба. Он поступит в Центральную Школу (раньше или позже, это не имело никакого значения). Он бросит Мод (она все время хотела спать с ним, это становилось невыносимым; их перемешанные тела испускали в эти знойные душные дни начала весны запах чуть подгоревшего кроличьего фрикассе. «И потом, Мод — ведь она для всех, сегодня моя, завтра кого-то другого, во всем этом нет никакого смысла»); он поселится в Фероле. Где-то во Франции жила чистая, светлая девушка, похожая на Пьеретту, юная провинциалочка с ясными глазами, которая сохраняла для него свою невинность; она пыталась иногда представить своего будущего господина, этого ужасного и ласкового мужчину; но ей никак это не удавалось. Девственница, какими-то сокровенными тайниками своего тела она признавала право Люсьена быть ее единственным обладателем. Он женится на ней, она будет его женой, и это самое трогательное из всех его прав. Когда же вечером медленными и торжественными движениями она станет раздеваться, это будет как принесение жертвы. Он обнимет ее со всеобщего одобрения и скажет: «Ты моя!» То, что она поднесет ему, она будет обязана поднести

лишь ему одному, и акт любви станет для него сладострастной инвентаризацией всех этих благ. Его самое трогательное право, самое интимное право на уважение своей плоти и на подчинение даже в своей кровати. «Я женюсь молодым»,— подумал он. Он решил, что у него будет много детей; затем он стал думать о работе отца: ему не терпелось продолжить ее, и он спрашивал себя, а что, если господин Флерье вдруг умрет.

Часы на улице пробили полдень, Люсьен встал. Метаморфоза была завершена: всего лишь час назад в кафе вошел нежный и робкий подросток, а выходил из него мужчина, один из хозяев Франции. Люсьен прошел несколько шагов и вступил в залитый лучами славы яркий французский день. На углу улицы Эколь и бульвара Сен-Мишель, подойдя к писчебумажному магазинчику, он посмотрел в зеркало: он надеялся увидеть на своем лице то непроницаемое выражение, которое так восхищало его в Лемордане. Но зеркало отразило лишь щуплое надменное личико, которое совсем не казалось грозным. «Я отпущу усы»,— решил он.

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕНА. Перевод <i>Л. Григорьяна</i>	5
КОМНАТА. Перевод <i>Д. Гамкрелидзе</i>	31
ГЕРОСТРАТ. Перевод <i>Д. Гамкрелидзе</i>	65
ИНТИМ. Перевод <i>Д. Гамкрелидзе</i>	85
ДЕТСТВО ХОЗЯИНА. Перевод <i>Д. Гамкрелидзе</i>	128

Жан Поль Сартр
ГЕРОСТРАТ

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*
Редактор *Л. В. Масленникова*
Художник *Е. А. Крылов*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9631

Сдано в набор 03.07.92. Подписано в печать 11.09.92. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,8.
Уч.-изд. л. 9,6. Тираж 40 000 экз. Заказ № 246. С 237.

Российский государственный
информационно-издательский Центр «Республика»
Министерства печати и информации Российской Федерации.

Издательство «Республика». 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Типография издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий».
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

**В издательстве «РЕСПУБЛИКА»
выходят в свет:**

**Симона де Бовуар
ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ**

(Пер. с французского)

Симона де Бовуар (1908—1986), известная французская писательница. Современница Камю, жена и друг Сартра, она является автором романов, пьес, философских эссе. В числе лучших ее произведений — повести «Прелестные картинки», «Очень легкая смерть», «Сломленная», которые, наряду с философским эссе «Нужно ли сжечь маркиза де Сада?», вошли в настоящую книгу. Только высокая степень искренности позволила писательнице так убедительно говорить о любви, о жизни и смерти, лицо которых одновременно и прелестно и жестоко.

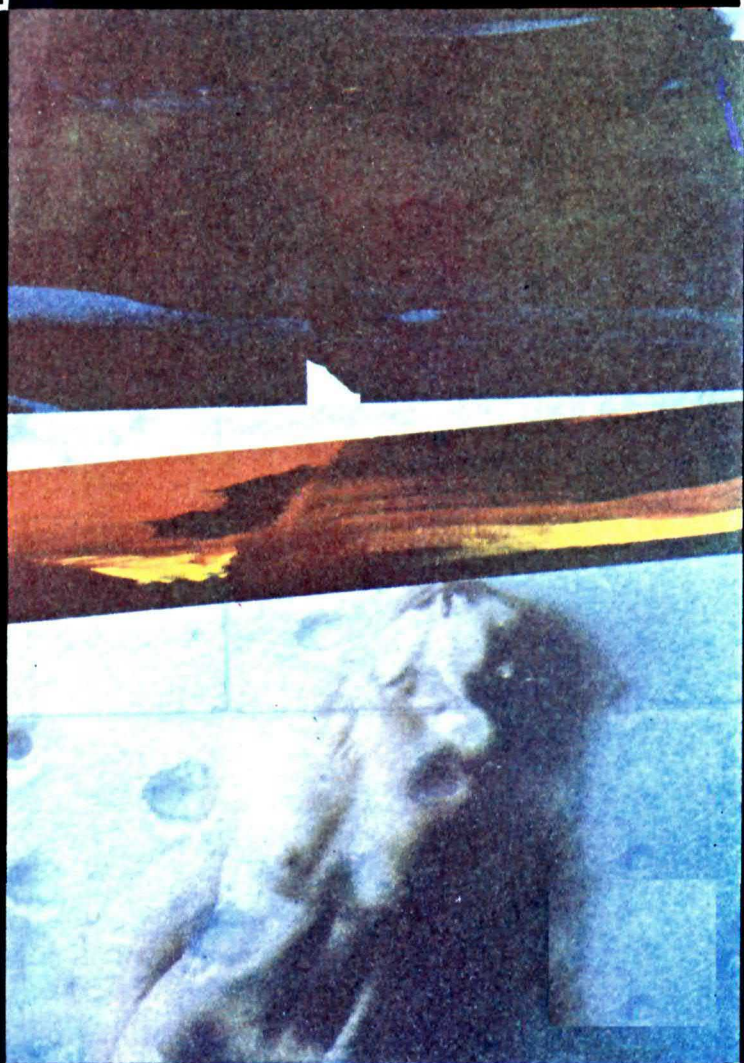
Джеймс Джойс

УЛИСС

(Пер. с английского)

Роман Д. Джойса «Улисс» (1922) впервые выходит в свет отдельным изданием на русском языке. Роман давно признан шедевром мировой литературы. Это — уникальное произведение, открывшее новые пути для прозы XX века, повлиявшее на многих виднейших писателей и до сих пор активно обсуждаемое и изучаемое во всем мире. В своей знаменитой книге-символе Д. Джойс, скрупулезно анализируя духовные, психические, сексуальные, патологические проявления человека, создал великолепный всеобъемлющий портрет общества нашего столетия.

Для настоящего издания перевод романа подвергнут новой (сравнительно с журнальной публикацией) редакции.



РЕСПУБЛИКА

